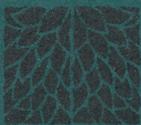


серебряная серия

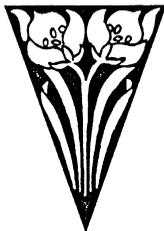


*Мария
Шкапская*
**ЧАС
ВЕЧЕРНИЙ**
стихи



Мария Шкапская
ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

Мария
ШКАПСКАЯ



Мария Шкапская
ЧАС ВЕЧЕРНИЙ



с т и х и



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург
2000

Мария Шкапская

Час вечерний. Стихи. – СПб, Лимбус Пресс, 2000. – 192 с.

Эта книга нашей “Серебряной серии” – наиболее полное издание Марии Шкапской (1891–1952). Здесь полностью представлены не только все существующие сборники замечательной русской поэтессы, но и неизданные ее стихи, а также автобиографические материалы.

ISBN 5-8370-0229-4

© Шкапская С. Г., наследники / Лимбус Пресс, 2000

© А. Веселов, оформление / Лимбус Пресс, 2000

© Оригинал-макет / Лимбус Пресс, 2000

ЗАКОН НЕУМОЛИМЫХ БИБЛИЙ

Многие стихотворения Марии Шкапской записаны как бы прозой, текут сплошняком. У нынешних модернистов такое встречается чаще, чем в первой четверти века. Почему же так записывала свои произведения Шкапская? Мне кажется, отгадка проста: это – подражание священным текстам, прежде всего – стихам Писания. Я сказал бы, что вообще все произведения Шкапской неразрывно связаны с Библией. И с разными страницами, и со всей глыбой:

Склоняюсь к книге. Вечер низок.
Чуть пахнет старое клише.
И странно делается близок
Моей раздвоенной душе
И тот, кто счел свой каждый терний,
Поверив, что Господь воздаст,
И тот, кто в тихий час вечерний
Читал Экклезиаст.

Мария Михайловна Шкапская (урожденная Андреевская), вышедшая из Достоевских “питерских трущоб”, дочь отставного мелкого чиновника, она с 11 лет должна была зарабатывать на семью в семь человек, заботиться о душевнобольном отце и параличницей матери. Прошла все круги лишений и страданий, на трудовые копейки выучилась, получила разностороннее образование в России и во Франции. Конечно, Шкапская и Библию знала основательно. Но неумолимость библейского закона приняла не только разумом, но поистине – плотью и кровью.

Шкапская рано начала писать стихи и печататься. С самого начала ее стихи были хороши, что случается редко. Поэтика Шкапской не могла избежать влияния старших современников. То и дело улавливаются интонации Сологуба, Вячеслава Иванова, Кузмина, Белого, Блока, Гумилева, Ахматовой, даже (например, в стихотворении “Баллада”) Горького (я не хочу сказать, что Горький был хорошим поэтом, но он определенно имел свою интонацию). Ощущается родство поэзии Шкапской со стихами Ильи Эренбурга, сверстника и приятеля Марии Михайловны. (Впрочем, Эренбург был более неряшлив в своих поэтических вольностях). Угадывается воздействие чтения Ницше и новой французской поэзии... Однако при всем при том отчетлива и собственная твердая и неповторимая интонация Марии Шкапской. “На кресте распятая Мадонна”, она пришла в поэзию с глубоко выношенной библейской и евангельской темой, со своей болью и музыкой.

Изображая народную жизнь, Шкапская порою обращалась к церковнославянской речи, к народному просторечию, и, на мой взгляд, была намного подлиннее, чем поздняя Цветаева в своих псевдорусских словесных вывертах.

Имя Шкапской всегда было известно в тесном кругу поэтов и любителей поэзии, и упоминание этого имени и связанных с ним ассоциаций обычно вызывало не только восхищение стихами, но и некоторую иронию, мужскую усмешку... Считалось, что женщине все-таки неприлично доходить до такой степени откровенности. Шкапская писала об утрате девственности, о половой любви, деторождении, абортах, женских разочарованиях. Но, если говорить всерьез, то даже и пресловутое “Было тело мое без входа...” – весьма замечательное и одухотворенное стихотворение. Подавим в себе низкую иронию: поэзия Шкапской потому и поэзия, что запечатлено в ней вечное и подлинное бытие. Оживает в словах истина женской судьбы. В конце концов это – самое великое

ветхозаветное. То, что, по мнению Василия Розанова (духовно близкого Марии Шкапской), гордо могла бы выкрикнуть мать, указывая на своего ребенка: “Вот мой пророческий глагол!”

В катастрофических событиях века Мария Шкапская избрала самую сильную позицию – матери, чье служение – “не отчизне, а жизни”.

...Но помню горестно и ясно –
Я мать, и наш закон – простой:
Мы к этой крови непричастны,
Как непричастны были к той.

Это – заключительное четверостишие из выдающегося стихотворения Шкапской, посвященного двум наследникам свергнутых монархов – Людовику XVII и “Алексею Второму”. Стихи эти ужаснули автора “Заблудившегося трамвая”, но вызвали сочувствие, трепет, высокое волнение творца “Двенадцати”.

Шкапская прожила тяжелую жизнь, но не была репрессирована, ее просто всё больше забывали с годами. Стихи она перестала писать, в 1925 году перешла на очерковую прозу (впрочем, превосходную). А. А. Тарковский рассказывал мне, что Мария Михайловна умерла, сидя в жюри съезда кинологов и приглашая группу белых собак на ринг. Может быть, в этой ситуации есть нечто трагикомическое, но сколько и в увлечении собаководством печали и одиночества! Наследство Марии Михайловны Шкапской ныне собрано (прежде всего усилиями М. Л. Гаспарова), найдены многие неизданные произведения – прекрасные. Шкапская – одна из лучших поэтесс нашего великолепного серебряного века. Нет сомнений, что несколько ее стихотворений никогда не умрут.

Михаил Сителъников

Р. S. В стихах и биографической прозе М. Шкапской, вошедших в эту книгу, сохранена авторская орфография.

ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

1913-1917

Слова, как пена –
Невозвратимы и ничтожны.

З. Гиппиус

Час вечерний

БИБЛИЯ

Ее на набережной Сены
В ларце старуха продает,
И запах воска и вербены
Хранит старинный переплет.
Еще упорней и нетленней
Листы заглавные хранят
И даты нежные рождений
И даты трудные утрат.
Ее читали долго, часто,
И чья-то легкая рука
Две-три строки Экклезиаста
Ногтем отметила слегка.
Склоняюсь к книге. Вечер низок.
Чуть пахнет старое клише.
И странно делается близок
Моей раздвоенной душе
И тот, кто счел свой каждый терний,



Поверив, что Господь воздаст,
И тот, кто в тихий час вечерний
Читал Экклезиаст.

МАГДАЛИНА

Был свиток дней моих недлинен,
Греховны были письма.
Я путь свершала Магдалинин
И обратилась – как она.

И, как она, ждала смиренно.
Но не пришел ко мне Христос
И не коснулся умиленно
Моих распущенных волос.

И с той поры я дни за днями,
Творя свой повседневный труд,
Несу наполненный с краями
Безмерной горечи сосуд.

ТАЙГА

В какой-то книге – не запомнилось –
Прочла про белую тайгу
И с этой ночи не опомнилась



И сердце стало все в снегу.
И снятся, мехом оторочены,
Края беззвучно вставших вод.
Как тишина сосредоточенно
По их извилинам течет!
Упорно вздыбились косматые
Пушисто-снежные холмы,
И сосны древние, мохнатые,
Читают зимние псалмы.
И все острей, невыразимее,
И все белей немая даль,
И с неба все неотразимее
Спадает снежная печаль.

СКЛЕП

И если бы то, что мы любим –
умереть не хотело –
Любовь умерла бы сама.

Шелли

Спускаюсь вниз. И с плит суровых
За мною вслед стекает мгла,
И длинный ряд гробов дубовых
Встает неясно из угла.
Под их охраной глуше, тише



Скрипит встревоженный песок,
И чуть горит в соседней нише
Неугасимый огонек.
Как мира полн уют последний!
Вот если б на рассвете дня
Из сельской церкви от обедни
В такую дверь внесли меня.
Земной тревогой не смущаясь,
Вот так же, как отец и мать,
Родной земли едва касаясь,
В гробу покорно истлевать
И слушать ночью, как размерен
Стук мелких капель с серых стен,
И знать, что крепок и уверен
Могильных плит последний плен.

ПОКОЙ

Есть в русской природе
усталая нежность.

Бальмонт

Мне снятся русские кладбища
В снегу, по-зимнему чисты,
В венках стеклянных ветер свищет
И гнет усталые кресты.



Переступивших и достойных
Равняет утренняя мгла,
И так смиренно, так спокойно,
Так много грусти и стекла!

Прилечь, притихнуть, стать, как иней,
Как этот хрупкий, скрипкий снег,
И белых туч на кровле синей
Следить прозрачный легкий бег.

И знать, что скорби и волненья
Сквозь этот снеговой покой
Не тронут скорбного успенья
Своею цепкою рукой.

ПАНОПТИКУМ

Я иду, а длинный ряд двоится,
Заполняя освещенный зал.
Мертвых лиц струится вереница
В отраженьи золотых зеркал.
Каждый день в своей точеной ванне
Умирает раненый Марат,
С каждым днем верней и постоянной
Жанны д'Арк подъятый к небу взгляд.



Как вчера, печальный и влюбленный
Над Психеей вкрадчивый Амур.
Я касаюсь с лаской затаенной
Бледных рук у гипсовых фигур.
В этой жизни – сам живой и тленный –
Дух мой, зыбкий и кипучий вал,
На камнях пучины многопенной
Лишь на миги делает привал.
Вот ему и сладостны, и милы
Плотный камень, гибкий воск и медь,
Все, что может взятый у могилы
Легкий миг в себе запечатлеть.
Оттого люблю я черных мумий
Через вечность чистые черты
И, в минуты тягостных раздумий,
Восковые куклы и цветы.

МУМИЯ

Лежит пустая и простая,
В своем раскрашенном гробу,
И спит над ней немая стая
Стеклоглазых марабу.
Упали жесткие, как плети,
Нагие кисти черных рук.



Вы прикоснетесь – вам ответит
Сухих костей звенящий стук.
Но тело, мертвенному жалу
Отдав живую теплоту,
Хранить ревниво не устало
Застывших линий чистоту.
Улыбка на лице овальном
Тиха, прозрачна и чиста,
Открыла мудро и печально
Тысячелетние уста.
Лежит пустая и простая,
В своем раскрашенном гробу,
И спит над ней немая стая
Стеклоглазых марабу.

У АНТИКВАРА

Читаю Горация в лавке
И стыну под легким пальто.
И стынет со мной на прилавке
На ширме пастушка Ватто.
Да сбоку смеется кольчужно
Изломанный старый доспех,
И мне торопиться не нужно
И с ними расстаться не спех.



А выйду – над Сеной бесстрастной
Ряды золотых огоньков,
И будто от жизни сейчасной
Отстала на много веков.
И те, кого встречу, – чужие,
И речь их странна и нова,
И тех, кто ушли и отжили,
Роднее и ближе слова.
И завтра с Горацием в лавке
Забудусь под легким пальто,
И будет дрожать на прилавке
На ширме пастушка Ватто.

ЛЕД

Когда мой день печален –
На улицу иду
В кафе, из ваз хрустальных
Куплю немного льду.

Лед дома на тарелку
Тихонько положу,
На мир пустой и мелкий
В тот вечер не гляжу.



Все слушаю – как нежно
И грустно тает лед,
И холод безбрежный
Мне в сердце заползет.

Лед скажет мне о новых
Невиданных местах,
О глетчерах суровых,
Об озере в горах,

О реках, заточенных
В печальную тюрьму,
О сосенках, влюбленных
В суровую зиму.

О юноше скитальце
Под снежной пеленой...
И сладко стынут пальцы
Под лаской ледяной.

Растает лед – а вьюжный
Напев в ушах звенит,
И жаркий полдень южный
Не жжет и не томит.



ВЕЩИ

Да, жизнью странною
все комнаты живут.

Роденбах

Меняются люди, но вещи
Стоят на привычных местах.
От этого глубже и резче
Пред ними предчувственный страх.
Погаснут глаза и желанья,
Но лампы в назначенный час
Прольют золотое сиянье
Для новых желаний и глаз.
Другие в знакомые стены
Внесут свою жизнь и уют,
Иные придут им на смену,
А стены стоят и живут.
И знают так тонко, так много
О тех, кто ушел, и о нас,
О том, что для каждого Богом
Положен назначенный час.
Меняются люди. Но вещи
Стоят на привычных местах.
От этого глубже и резче
Пред ними предчувственный страх.



РЕВНОСТЬ

На большую похожа птицу
Из далеких пустынных мест.
Будет птица печально биться –
Распластается в жуткий крест.

И глаза у нее больные
И глубокие, как река,
Не дневные глаза – ночные.
И на дне у тех глаз – тоска.

Никому рассказать не сможем
О ночах, проведенных с ней.
Только с вечера мы тревожней,
Да на утро встаем бледней.

Но один на другом узнаем
Про ночной истомивший слюб
По запекшейся темной ране
Поцелованных птицей губ.



Когда мы остаемся сами с собой

* * *

Как будто кто-то огромный положил мне на сердце лапу. Написали сегодня из дому, что умер мой старый папа.

Ах, если б письмо затерялось, если б про это не зналось!

Но письмо не пропало в дороге, про все рассказало жестоко: как скрипели старые дроги, как нападало снегу глубоко, как бездушно горели свечи, как лежал он важный, нарядный, и как жалко костлявились плечи через старый сюртук парадный.

Но поверить нельзя, невозможно, чтоб, увидев меня, не заплакал, чтобы с жесткого белого ложа мне навстречу не встал бы папа.

И когда бы дитя его билось о гроб и об пол головою, чтобы он над ним не склонился, не сказал бы “Христос с тобою!”, чтоб его любовно не поднял.

Ах, зачем я проснулась сегодня.

* * *

Помнишь, в сказках мачехи давали отобрать горох от чечевицы?

Это очень трудно, но едва ли может с нашей сказкою сравниться.

По крупнице в жизненную чашу собираю чечевицу нашу – жатву с нивы жизни сорной. Шла б работа споро, но упорно сыплешь ты гороховые зерна – зерна недоверия и злобы. А потом – корпим над ними оба.

Ну подумай, что мы Богу скажем в час Его последней воли? И с какою болью мы покажем наше незапаханное поле и в суме, откуда клюют птицы, вместе – и горох и чечевицу?



* * *

Слава тебе, безысходная боль...

Ахматова

Ах, ступеней было много, длинной была дорога. Шла, ступеней не считая, падая и вставая, шла бы без стопа и вздоха, но так устала, но такая была Голгофа, что силы не стало.

Упала.

Распялась крестом у порога моего сурового Бога.

И сказалося так больно:

“Господи, разве еще не довольно!”

И ответил Печальный:

“Этой дороге дальней нет ни конца, ни края. Я твои силы знаю. Я твои силы мерил. Я в твои силы поверил”.

Сжег мое сердце очами. И был поцелуй палящий. И лежала в бес-
сильи.

И – у лежащей – за плечами зареяли крылья.

* * *

Громыхали колеса гулко и строго, и глядели три желтых огня.

Мне надо было спросить у Бога – отступился ли Он от меня.

И упала я, сломленная, упала меж рядами серебряных лент. Но Далекий сжалился над усталой, – отнял память в последний момент. А потом были чьи-то чужие руки, уносившие от полотна. Замерли свистка последние звуки, струйка дыма была видна.

И не знаю с тех пор, не знаю – было ли это чудо? ответ? Случайно ли по пути гуляя, напал чужой на мой след?



Или, может быть, за рукой чужого, за усами его, пахнущими вином, притаился посланный мне от Бога белый вестник с серебряным крылом.

* * *

Ляжем и втянем голову в плечи – авось не заметит, авось не услышит, в книгу свою не запишет.

Темный и жуткий, к каждой улыбке чуткий, к каждой слезинке жадный, – по ниве людской, ниве страдной, – проходит он днем и ночью. – Видели сами, воочью.

От очей его пламя и темное знамя кровавой звездой расшито. И, как полновесное жито, в подол своей темной ризы собрал дорогих и близких.

Ляжем и втянем голову в плечи, авось не заметит, авось избавит от клятвы, сохранит нас – для новой жатвы.



О, быть покинутым –
какое счастье!
Быть нелюбимым – вот
горчайший рок.
Кузмин

Сердца горестные заметы

* * *

В маленькой заклеенной загадке,
В розовом конвертике с подкладкой,
С маркой двадцатипятисантимной,
Пишут мне печально и интимно,
Что Володя думает жениться,
Но поедет летом за границу,
Чтоб со мною повидаться снова,
Что сильна, должно быть, власть былого.
Добавляют также осторожно,
Что жена его совсем ребенок,
В мужа без ума влюбленный,
Что ее сломить легко и просто можно.
Чувствую их острые намеки,
Страх и опасенья, чтобы мой далекий
Вновь не стал бы близким и безвластным.
Пишут мне, как женщине опасной.
Верен их расчет и очень-очень тонок.
Но того не знают,
Что не львица светская – ребенок



Проведет с письмом всю ночь, рыдая,
И о ней, страдающей украдкой,
Не напишут никому интимно
В розовом конвертике с подкладкой,
С маркой двадцатипятисантимной.

* * *

Было грустно наше прощанье и оставило жгучие ранки. Вечно помнятся – утро в тумане и грязный коридор в охранке, – такой облезлый, серый и длинный; какой-то противный запах, лица, затянутые паутиной, и руки, как цепкие лапы.

Звяканье шпор за дверью, портреты царского дома и тоска все злей и безмерней... А за дверью голос знакомый.

И потом, меж двумя чужими – дорогое лицо, родное, – холодное и стальное, чтобы себя не выдать перед ними.

Под чьим-то взором упорным, липким – крик безмолвный о вечной разлуке. Глазами к глазам приникли и сломались губы от муки.

Неразумье разлучной боли, желанье кинуться следом и – железом ставшая воля, и над болью воли победа.

А потом... потом одиночка и эта нелепая заграница, чужие французские лица. И нельзя ни рыдать, ни молиться, чтобы час приблизить урочный.



* * *

Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино.

Ахматова

Он один подходил так нежно, он один не делал мне больно. Его ласка была белоснежной, и ей душа открывалась невольно.

Из одной мы с ним пили чаши. И когда наши губы встречались – узнавали друг друга сердца наши и одним языком перекликались.

Он мог вылечить душу больную. Но ушел он... и за собою опустил решетку стальную между другими людьми и мною.

* * *

В вечность меж нашими встречами вылилось море событий.

Разве не сделались вечными милые тонкие нити?

Встретимся – моря как не было – снова и близость и нежность.
Людам ли, жизни ли, небу ли предотвратить неизбежность.

* * *

Он ушел по той же дороге,
Куда уходило вчерашнее.

Блок

Я помню о милом скитальце,
Которому имя Тристан.
И вложены скорбные пальцы



В рубцы заживающих ран.
Он был – и ушел, – как уходят
С рассветом в горах облака,
Как каждой весной с половодьем
Уходит большая река.
Но помнят об облаке скалы
(И память легка и жива),
И в горных ущельях кристаллы,
И в горных долинах листва.
Пусть реки снесут к океану
Прозрачные воды свои –
Их ложе – раскрытая рана
В груди утомленной земли.

* * *

Как часто на Монпарнассе грежу я вдумчиво и привычно об Исаакии в темной рясе, о Библиотеке Публичной.

Возглашаю горькие тосты со своею тоской всегдашней за Неву с Литейного моста, за задумчивую водопроводную башню, и даже (тоска безмерна) за Предварилку, что на Шпалерной.



* * *

Как странно – сердце уколото.
И больно – вот здесь, меж плеч.
Как странно – сердце уколото,
А сердца не тронул меч.

Я только сегодня с вечера
Знаю, как ранит тоска.
Я только сегодня вечером
Прочла два белых листка.

Как странно – сердце уколото,
И больно – вот здесь, меж плеч.
Как странно – сердце уколото,
А сердца не тронул меч.

* * *

Как глухо плачет море!
Как даль кругом пуста!
Рассказываю горе,
Прижав к земле уста.
Но спит покров зеленый,
И степь кругом тиха,
И от земли соленый
И терпкий вкус греха.



* * *

Господи, я не могу!
Дай мне остаться чистою,
Дай на Твоем берегу
К верной причалить пристани.

Душен безвыходный плен
Дум моих мертвых, каменных.
Строгих Твоих колен
Дай мне коснуться пламенно.

Сердце, как пламень в снегу.
Сердце с собой не справится.
Снег истлевет, плавится...
Господи, я не могу.



Bibelots

СЕРДЦЕ В ВАТКЕ

Положу свое сердце в ватку,
Как кладут золотые браслеты.
Пусть в суровой за счастье схватке
Не следит суеверно приметы.
На победу надежды шатки,
Неудачу пророчат ответы.
Положу свое сердце в ватку,
Как кладут золотые браслеты.

БОТИЧЕЛЛИ

В дни вспышек майских и апрелевых
Гляжу, как в строгий амулет,
На снимки с фресок ботичеллевых,
И в душу сходит тихий свет.

И после сладостной идилии
Так долго помнятся светло
И руки – сломанные лилии
И веки – бабочки крыло.



ЭСКИЗ

Море – как синий паркет
Панне танцующей – яхте,
В кружево пенных манжет
Камень прибрежный одет –
Польский изысканный шляхтич.

Панны кокетлив поклон...
Он не ответил, небрежный.
Смех серых чаек, как стон.
Плещет по ветру фестон
Пенных манжет белоснежных.

МЕНУЭТ

В час лунный, час жасминный
Дворец не спит старинный
И важно сходит вниз
По галерее длинной
Надменный, гордый, чинный
Напудренный маркиз.

С маркизой Маргаритой
Под клавишин разбитый



Танцует менуэт,
И звонко стонут плиты
И с сумерками слитый
Их тонок силуэт.

Наряден вечер званый
И при луне обманной,
Кивая головой,
Танцуют гости странный,
Намеренно жеманный
Старинный танец свой.

Присядут, вновь привстанут,
Так томно па протянут,
И снова в четкий ряд,
И долго не устанут,
Пока в окно не взглянут
На полный утра сад.

Поклон учтивый длинный...
И ряд танцоров чинный,
И рой блестящих дам,
И сам маркиз старинный
С маркизой кринолиновой
Растают по углам.



ЛАНЧЕЛОТ

Едва луна украдкой
Серебряной загадкой
Осветит парапет,
Его перилам шатким
Доверится так сладко
Воздушный силуэт.
Спит замок после бала,
От празднества усталый,
И рыцарь Ланчелот
С опущенным забралом
Один притихшим залом
Отчетливо пройдет.

Почтительно склонится,
И будут строги лица
В потоке лунных струй.
И будет ночь томиться,
И долго будет длиться
Прощальный поцелуй.
Рассвет луну оплачет
И тоненько означит
Сияющий восход,
И королева плачет,
И звонко в битву скачет
Железный Ланчелот.



БАЛЛАДА

Поднес фиалки даме паж –
(Весна в лугах дымилась)
Влюблен был в даму паж – она ж
О рыцаре томилась.

Мадонне рыцарь посвящал
Досуги и молитвы,
Ее обитель защищал
И пал в разгаре битвы.

Но жизнь в раю была грустна,
И плакал он о даме.
Пошла в монахини она
(А луг пестрел цветами).

Смеялась жизнь кругом – она ж
За упокой молилась.
Фиалки рвал, стеноя, паж,
(Весна в лугах дымилась).

Взвивались жаворонки ввысь,
Гоня ночные страхи,
Мораль – к Мадонне не стремись
И не иди в монахи.



ФОНАРИК

Как фонарик, свечусь изнутри
И не знаю, как скрыть от прохожих,
Что в кармане открытка и три
Телеграммы, по подписи схожих.

Узко сомкнуто жизни кольцо.
В нем нас двое – и оба у цели.
Засмеяться бы прямо в лицо
Джентельмену в бобровой шинели.

Перечту телеграммы – их три –
И на каждую дважды отвечу.
Как фонарик свечусь изнутри –
Телеграммы с открыткой – свечи.

ВЕСНА

Приползла лукавая, вся талая,
И в угрюмом городе, в камнях,
Распустила слухи небывалые,
Что погибнут улицы на днях.
Что идет веселая, шумливая
Из лесов зеленых и полей
Рать весны, раздольная, гульливая,



Против серых зданий и людей.
Целый день шептала и морочила,
У прохожих путалась в ногах,
Шелестела в скверах олисточенных,
Лошадей пугала на углах.
А под вечер стихла, утомленная,
Разлеглась на гулкой мостовой,
К тротуарам сонным, покоренная,
Прилегла упрямой головой.
Но мигала до утра пугливая
Фонарей блестящая гряда
И дрожала, вся нетерпеливая,
Под мостами сжатая вода.

ВОДА

Как кровь уходит из синей вены,
Ушла из плена зловонных труб
Вода живая с кипящей пеной,
И город плачет – угрюм и скуп.

Легка, подвижна, к истокам темным,
К лугам поемным, к седым лесам,
Течет и плещет, светло-бездомна,
Сродни и солнцу и небесам.



Мария Шкапская стихи



Сверкает лентой, струей искрится,
И путь все длится, и мир звенит,
Взлетает птицей, прыгнет, как львица,
Ревет в порогах, в болотах – спит.

Поют ей песни и пьют скитальцы,
Но тщетно “сжался” иссохших губ,
И тщетно город вздымает пальцы,
Сухие пальцы фабричных труб.



MATER DOLOROSA 1921

*Тотику и Атику, моим крохотным
сыннишкам, посвящаю я эти стихи.*

“Дорогая тетушка придет с подарками в день
Пюджа и спросит: “Где же наш малютка,
сестра?” – “Моя мама”, ты ответишь ей
нежно, чуть слышно: “Он в зрачках моих
глаз, в моем теле и в моей душе”.

Рабиндранат Тагор

* * *

Неживое мое дитя,
В колыбель мы тебя не клали,
Не ласкали ночью крестя,
Губы груди моей не знали.

На кладбище люди идут –
Дорогая сердцу задача –
Отошедшим цветы снесут
И живыми слезами плачут.



Обошла бы кругом весь свет –
Не найду дорогой могилки,
Только в сердце твой тихий след,
Плоть от плоти, от жилок жилка.

Неживое мое дитя,
В колыбель мы тебя не клали,
Не ласкали ночью крестя,
Губы груди моей не знали.

* * *

Так время светло протекало
И солнце спускалось так близко
И так горячо целовало
Его ожидавшие ризки.

Под сердцем тепло и несмело
Оно шевелилось и жило.
Но тело, безумное тело,
Родной тяготы не сносило.

Мне травы на крик отвечали
И плакали росы со мною
И узы священной печали
Меня сочetaли с землею.



С тех пор ее зову покорна,
Все слушаю каждой весною,
Как в ней наливаются зерна
Моею печалью и – мною.

* * *

Она проходила сгорбленно
За гробом своих детей
И было лицо оскорблено
И руки детских слабей.

О Боже, будет ли, надо ли,
Свиданье на том берегу –
Но как она шла, не падала,
Никак понять не могу.

* * *

Ведь солнце сегодня ярко
И легче земные ноши,
Но сердце – пустая барка
И груз ее в море брошен.



И мне все больней и жальче
И сердце стынет в обиде,
Что мой нерожденный мальчик
Такого солнца не видит.

* * *

Мы рожаем их в муках сами,
Но берешь Ты их в райский сад.
Разошью цветными шелками
Богородице белый плат.

Ведь в Твои поля без возврата
Раньше дня никто не сойдет.
Если встретишь мое дитя Ты –
Оботри ему смертный пот.

И скажи ему, сжав ручонку,
Что Тебе позволила мать
Отошедшему в ночь ребенку
За себя этот долг отдать.



* * *

В землю сын ушел – и мать от земли не может встать.

Люди думали о нем, как о добром, злом, большом, – но в укромном уголке знала мать об узелке, что связал – Велик Господь – при рождении с плотью плоть.

Был он нежный, был родной, был он ей, лишь ей одной, – нежный теплый гольшок, в теле розовый пушок.

В землю сын ушел и мать от земли не может встать.

* * *

Святому маленькому гробу
Молиться буду по ночам.

А.Блок

Знаю я, что в наш печальный мир
Для того призвал Ты человека,
Чтобы наг, беспомощен и сир
Он бродил от века и до века.

Знаю – он ведь все б Тебе простил –
Много воли в нашем слабом теле –
Но оставил слишком много сил
В опустевшей детской колыбели.



Мария Шкапская стихи



Знаю – он ведь все б Тебе забыл,
Но в мозгу настойчивы и четки
На кладбищах маленьких могил
Жалобные, тонкие решетки.

* * *

Дни мои, как пустая чаша, всю меня выпил милый и теперь мне, жаждущей и уставшей, нечем подкрепить свои силы.

Справилась бы со жгучею жаждой, сердце терпеливо и звонко. – Милого может заменить каждый, но кто даст мне его ребенка?

* * *

Быть бы тебе хорошей женою, матерью детям твоим. Но судил мне Господь иное, и мечты эти – дым.

По суровым хожу я дорогам, по пуганым тропинкам иду. По пути суровом и строгом ненадолго в твоём саду.

Рву цветы и сочные злаки, молюсь имени Твоему. Но ворчат за стеной собаки: – чужая в доме.

А как жаль оставить тебя за стеною... Слезы в глазах – как дым... Как бы я хотела быть твоей женою и матерью детям твоим.

* * *

Было тело мое без входа и палил его черный дым. Черный враг человеческого рода наклонялся хищно над ним.

И ему, забыв гордыню, отдала я кровь до конца за одну надежду о сыне с дорогими чертами лица.



* * *

О, тяготы блаженной искушенье, соблазн неодолимый зваться “мать” и новой жизни новое биенье ежевечерне в теле ощущать.

По улице идти как королева, гордясь своей двойной судьбой. И знать, что взыскано твое слепое чрево и быть ему владыкой и рабой, и твердо знать, что меч Господня гнева в ночи не встанет над тобой.

И быть как зверь, как дикая волчица, неуголяемой в своей тоске лесной, когда придет пора отвоплотиться и стать опять отдельной и одной.

* * *

Как докажу, что я была любима и что дитя мне за любовь дано? И что лицо мое не черным дымом – огнем в ночи опалено?

Кто уравнил жену в правах с рабыней? Какой еврейский страшный Бог хотя на миг один позволить мог, чтоб были равны в сыне – Агарь, бредущая в пустыне, и Сарра, легшая меж мужних ног.

Чтоб быть могли зачатъя безлюбовны и их не метил страшный Божий знак. И чтобы у детей единокровных был взгляд отцов и тот же мерный шаг?

* * *

Как много женщин ты ласкал и скольким ты был близок, милый. Но нес тебя девятый вал ко мне с неудержимой силой.

В угаре пламенных страстей, как много ты им отдал тела. Но матерью своих детей ты ни одной из них не сделал.



Какой святой тебя хранил? Какое совершилось чудо? Единой капли не пролил ты из священного сосуда.

В последней ласке не устал и до конца себя не отдал. Ты знал? О, ты наверно знал, что жду тебя все эти годы.

Что вся твоя и вся в огне, полна тобой, как медом чаша. Пришел, вкусил и весь во мне, и вот дитя – мое, и наше.

Полна рука моя теперь, мой вечер тих и ночь покойна. Господь, до дна меня измерь, – я зваться матерью достойна.

* * *

Станут старше, взрослее дети и когда-нибудь Лелю и Ате расскажу я о старшем брате, который не жил на свете.

Будут биться слова как птицы, и томиться будут объятья. Опустив золотые ресницы, станут сразу серьезны братья.

И меня безмолвно дослушав, скажут: – “Как ты его хотела. Ты ему отдала свою душу, а нам – только тело”.

И тогда только, милый Боже, я пойму, что всего на свете и нужней и теплей и дороже мне вот эти, живые дети.

И Тебе покорна, и рада, я прошу того, неживого, вот за эти Твои лампы, за Тобой рожденное Слово.

* * *

Христос, не заходи, пройди мой мирный дом.

Пусть сердце жаждало пришествия Господня:

Прошу настойчиво с молитвой и стыдом –

Когда-нибудь потом, но только не сегодня.



Не Марфой скромною – теплее и родней,
Марией пламенной Тебя хочу я встретить.
А нынче, Господи, властителями дней
Твои соперники – мои малютки дети.

Как дни пройдут мои текучие года,
Покинув мать и дом, уйдут на волю дети.
Так, уходя с весной, бурливая вода
Уносит за собой рыбацкий челн и сети.
Я в скромный этот дом тогда Тебя введу
И будет долог день и в вечер канут тени
И буду видеть в небе вставшую звезду,
Обняв Твои вечерние колени.

* * *

Господи, разве не встала я, егда Ты ко мне воззвах? Ведь я только
петелька малая в тугих Твоих кружевах.

Ведь мы только ягоды спелые в Твоем лесном туеске, цветы Твои
белые в соблюденном Тобой леске.

Твоими ржаными колосьями всходим из влажной земли в полях на-
шей скудной родины, в ее дорожной пыли.

Но зреть под лучами теплыми дай нам время и срок, чтоб цветы
встали в поле копнами, чтоб колос налиться мог.



До срока к нам не протягивай тонких пальцев своих, не рви зеленые ягоды, не тронь колосьев пустых, ткани тугие, нестканные, с кросен в ночь не снимай.

– Детям, Тобою мне данным, вырасти дай.

* * *

Да, говорят, что это нужно было... И был для хищных гарпий страшный корм, и тело медленно теряло силы, и укачал, смиряя, хлороформ.

И кровь моя текла, не усыхая – не радостно, не так, как в прошлый раз, и после наш смущенный глаз не радовала колыбель пустая.

Вновь, по-язычески, за жизнь своих детей приносим человеческие жертвы. А Ты, о Господи, Ты не встаешь из мертвых на этот хруст младенческих костей!

* * *

Не снись мне так часто, крохотка, мать свою не суди. Ведь твое молоко нетронутым осталось в моей груди. Ведь в жизни – давно узнала я – мало свободных мест, твое же местечко малое в сердце моем как крест.

Что ж ты ручонкой маленькой ночью трогаешь грудь? Видно виновной матери – не уснуть!



* * *

О, сестры милые, с тоской неутолимой,
В вечерних трепетах и в утренних слезах,
С такой мучительной, с такой неукротимой,
С несытой жадностью в опущенных глазах,

Ни с кем не вяжут вас невидимые нити,
И дни пустынные истлеют в мертвый прах.
С какою завистью вы, легкие, глядите
На мать усталую, с ребенком на руках.

Стекает быстро жизнь, без встречи, но
в разлуке.

О, бедные, ну как помочь вам жить,
И темным вечером в пустые ваши руки
Какое солнце положить?

* * *

Боже мой, и присно, и ныне,
В наши кровью полные дни,
Чаще помни о Скорбном Сыне
И каждую мать храни.



Пусть того, кто свой шаг неловкий
К первой к ней направлять привык,
Между двух столбов на веревке
Не увидит ужасный лик.

Пусть того, что в крови родила,
Не увидит в чужой крови.
Если ж надо так, Боже милый,
Ты до срока ее отзови.

* * *

Я люблю мою темную землю.

Сологуб

Земля моя, от Чили до Бретани
И от Плеяд до Южного Креста,
О, древняя, твоих живых касаний
Повсюду ждут иссохшие уста.

Разъятая мечом вражды разящим,
Истерзанная яростью могил,
Ты всех поишь одной животворящей
Росой твоих жизнеточащих жил.

Безгневная, в свое немое лоно
Приемлющая жертву и жреца,



Ни от кого в час смертного поклона
Не отворишь недвижимого лица.

Припасть к тебе, как к терпкому причастью,
Мы все сойдем в безмерные поля,
Чтоб стать твоей неотделимой частью,
Владычица и мать моя, земля.

РОССИЯ

Радуйся, яко крови твояе капли сладчайшого
паче меда быша пресладкому Иисусу.

Жит. св. Варвары В-цы

Лай собак из поникнувших хижин,
Да вороний немолкнувший крик,
И высоко взнесен и недвижим
Твой иконный неписанный лик.

Ты идешь луговиной степною,
Несносим одичалый твой взгляд
И под жаркой твоею ступнею
Опаленные травы горят.

С непокрытым челом инокиня
Невозможных отступных церквей,



Как на смуглых руках твоих стынет
Рудолипкая кровь сыновей.

Потряся кандалные ковы,
В озареньи вечерних кадил,
Ты влачишь свои вдовьи покровы
Над грядами их тихих могил.

Но Христос Невечерняя Славы
Пречестных твоих мук причащен,
И краев твоей ризы кровавой
Поцелуем касается Он.

И преслаще сладкого дара,
Для ноздрей Его неодолим,
Поминальных твоих пожаров
Терпкий запах и горький дым.



БАРАБАН СТРОГОГО ГОСПОДИНА 1922

Мы танцуем под барабан Строгого Господина.

Е.Гуро

* * *

Пара за парой – муж с женой,
В любовном танце один с одной.

Вчера родили и вновь зачнем
И вновь родим – и жизнь наша в том.

Уроним семя и плод сберем,
Мы ветер сеем и бурю жнем.

А Он, Господин, и мудр и строг,
Для каждого помнит данный срок.

Один младенцем, другой в летах,
Все станем прахом в Его руках.



* * *

Однажды лишь меру кровную отмеривает Бог. И праведной и греховной истощиться приходит срок.

А вы, мои деды и прадеды, бабушки в белых чепцах, – сколько ее растратили в трудных своих концах.

И в теле последней дочери такой оставили след, – что пришла моя ранняя очередь без малого в тридцать лет.

А я в ослепленьи осмелилась завязывать новую нить, в новую плоть отдельную скудный запас излить.

Старые мои, мои мертвые, не коснется вас плач земной. – Но зачем же такая горькая власть ваша надо мной?

* * *

Старые мои, мои мертвые, глаз ваш слеп и язык ваш нем, и черты ваши полуистертые не хранятся никем.

Но кровь вашу непрерывную хранит моя бедная плоть и ей вашу власть неизбывную – не обороть.

* * *

Скудные, хилые, слабые, человеческие семена, хозяйка хорошая не дала бы нам для посева такого зерна.

Но Ты из Недобрых Пастырей, Ты Неразумный Жнец. – Всходы поднимаются частые – терн, полынь и волчец.



* * *

Ты стережешь зачатные часы, Лукавый Сеятель, недремлющий над нами, – и человечьими забвенными ночами вздымаешь над землей огромные весы.

Но помню, чуткая, и – вся в любовном стоне, в объятьях мужниных, в руках его больших – гляжу украдкой в широкие ладони, где Ты приготавлиешь их – к очередному плотскому посеву – детенышей беспомощных моих, – слепую дань страданию и гневу.

* * *

Под шагами тяжкими и важными как былинки впутались они в наши жесткие, многоэтажные, в городские наши дни.

Забываем мы о них неделями и с утра отводим в детский сад, их – невоплощенных Рафаэлями, не таких, что пел Рабиндранат.

Нет у нас чудесных и особенных, и они такие же, как мы, дети той же скудной родины, узники одной тюрьмы.

Как же сделать их могли бы мы непохожими на нас, если не с кем было быть счастливыми матерям в зачатный час.

* * *

Ты стала взрослая и может быть седая, а может быть ты в детстве умерла, но прядь волос как прежде золотая хранится в ящиках отцовского стола, или у матери в внимательном комодe, – живая прядь отрезанная в годик.



Пускай в земле срезавшая рука, пусть белое давно истлело тело, но эта прядь – как старые шелка и пахнет чуточку духами “Isabella”.

Таинственный закон нам в жизни дан. – Где наш смятенный дух и пламень слова гневный? Но многовековой разрыт в степи курган и вьются локоны над скифскою царевной.

* * *

Нет, на путях моих не мне дано
Испить искристое Хиосское вино.

В моих путях запомнить мне велели
Лишь строгие печали Октября
Да маленькие горечи Апреля,
И вот – Страстной мне каждая неделя,
И омраченной – каждая заря.

* * *

Когда стану я старой и скучной и нелюбимой женой – о том, что так сердце мучит – не говори со мной.

Будет вопрос мой и будет ответ твой в знаке моем простом: руки на головы детские я положу крестом.



Мария Шкапская *стихи*



* * *

Я верю, Господи, но помоги неверью. В свой дом вошла и не узнала стен. В свой дом вошла и не узнала двери. И вот – не встать с колен.

И дети к сердцу моему кричали, но сердце отступило прочь. И яростной моей печали сам Бог не мог помочь – мой муж меня покинул в эту ночь.

* * *

Петербуржанке и северянке люб мне ветер с гривой седой, тот, что узкое горло Фонтанки заливает невской водой.

Знаю – будут любить мои дети невский седобородый вал, оттого, что был западный ветер, когда ты меня целовал.

КАНОН БОГОРОДИЧЕН

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, танцующие в балете, стоящие в очереди.

И для всех Она равно светла, Матьерь Скорбящая, Светило незаходящее, девственная похвала и мост в небо висящий.

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, все, кем на этом свете слезы источены.

И у Ней, Неневестной Невесты, Жены Неискусобрачной, просим посева зланный, завтрашний день удачный и благие с дороги вести.

Все мы Ей дети, все мы Ей дочери, все, чьи усталые веки слезами смочены.



И у Ней, благодатной Жертвы, Матери Восставшего из мертвых –
просим для своего ребенка волос тонкий, голосок звонкий и доброе к
матери сердце.

* * *

Все помним о древнем рае
И в память Закрытых Врат
Так крепко мы запираем
Наш храм, наш дом и наш сад.

В плену, но наш плен нам сладок,
Как чайке простор морей.
На лестнице пять площадок,
На каждую семь дверей.

За каждой дверью цепочка,
Французский замок и крюк,
И дверь не отворим ночью
На самый поспешный стук.

И если приходит милый –
Так долго глядим мы в щель,
Что часто теряет силы
Дафнис, Тристан иль Лель.



А после мы ловим тщетно
Любви легкокрылый луч,
И тщетно ломаем в клетке
Цепочку и крюк и ключ.

* * *

- “Что ты там делаешь, старая мать?”
– “Господи, сына хочу откопать,
Только вот старые руки мои
Никак не осият черной земли”.
– “Старая мать, неразумная мать,
Сын твой в Садах Моих лег почивать”.
– “Господи, я только старая мать,
Надо бы прежде меня было взять”.
– “Будет твой срок и исполнится день.
Смертная к сердцу наклонится тень”.
– “Господи, рада бы в землю я лечь,
Да будет ли радость чайных встреч?
Сможешь ли землю заставить опять
Матери милое тело отдать?”
– “Дух его – Мне, а земле только плоть,
Надо земное в себе обороть.
Что же ты делаешь, старая мать?”
– “Господи, сына хочу откопать”.



* * *

Будут нам Паны даны и Христы, ночью падут освященные росы.
Может быть я, может быть ты, может быть та – в пламенеющих
косах.

Будет избранница, будет корабль в новые темные воды. – Только
однажды светильник зажгла б – род не прейдет и пребудут народы.

Праха не будет – не станет зерна. Мы, что в супруги не избраны Бо-
гом – прахом возьажем по трудным дорогам, где в новые ясли прохо-
дит она.

* * *

Тяжкой десницей и волей Отца
В наших путях неотверзтое небо,
Надо, чтоб Мудрый нам не дал лица,
Надо, чтоб голоса Мудрый нам не дал.

“Слово падет с огневого столба –
Вот Он даруется вам – многоликий,
Вот Он приходит к вам, многоязыкий,
Вот Он – ваш Голос, Лицо и Труба”.



РОССИЯ

1

По степному цветному раздолью,
Пригибая зацветшую рожь,
На какие идешь богомолья,
На какие усенья идешь?
Ты проходишь – и молкнут народы
Перед ликом страданий твоих,
И Христос с опаленного свода
Возникает целебен и тих.
Но к Его умиляющей длани
Не склонив непокорных седин,
О кровавых Своих взысканьях
Говоришь Ты один на один.

2

Лежит роженицей на день девятый
Российская осенняя земля
И озими зеленые заплаты
На зипуне изорванном ея.
Из года в год рождает урожай,
Насущный хлеб, железную руду и мак,
И груди мощные ее питают
Пшеницу сочную и всякий прочий злак.



О ты, посконная моя Россия,
Ты женщина и Ты – моя сестра,
И я все жду, что ты родишь Мессию
Под осень, в ночь, у дымного костра.

Но Ты родишь лишь жито, да овес,
Да ночки темные, чтоб свой разгул потешить,
И крестбины в лесу справляет леший,
И ветер злой и одичалый чешет
Соломенные пряди кос.

3

Когда над спящею Невою
Серебряный повешен рог
И вечер дымной головою
К камням остывшим прилег,

И вечно помня о Сионе
Поют куранты до утра,
На старом сером бастионе
Россия ждет к себе Петра.

И он уверенной стопою
Идет, покинув свой собор,
Но не погас упрямый взор
От двухсотлетнего покоя.



Он властно женины покровы
Снимает мужнею рукой,
И долго шепот их любовный
Тревожит крепости покой.

И каждой ночью зачинает
Она – и носит до утра,
А поутру родит, стеною,
Детей с походкою Петра.

4

Город спал во сне непробудном
До утра, всю ночь, напролет,
Но работал громко и трудно
В Петропавловской пулемет.

И над нею пели мятели
И гигантская тень Петра
На невероятных качелях
Качалась всю ночь до утра.

И была утрюмая жалость
На страшном Петровом лице,
И с Петром Россия качалась
На доске, на другом конце.



Были руки до крови стерты,
И была живая едва,
И болталась, словно у мертвой,
Седая ее голова.

Но летели качели в тучи
До утра, всю ночь, напролет,
И всю ночь работал трескучий
В Петропавловской пулемет.

5

На рытвинах и на ухабах
В полях, болотах и во мхах,
Стояла каменною бабой,
Когда Господь к тебе воззвах.

И, европейская ошибка,
В ответ ему, Россия, ты
Такой страдальческой улыбкой
Смягчила скифские черты.



ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ

1

Когда сентябрьскую тишь
Колеблют звездные качели –
Каприз изысканный Растрелли,
Ты кораблем в Неве стоишь.

Твой нос – седые бастионы,
А мачтой – вознесенный шпигц,
Но не видать матросских лиц
С кормы недвижимой и зеленой.

И вечно с моста Биржевого
Тебе положена чреда:
Ты в новый путь всегда готова,
Но не отчалишь никогда.

2

Замшелых стен седая вязь,
Как не отдать последней чести
И как пройти не поклонясь
Петровой каменной невесте.



Стоишь – на смерть Петру верна,
И вечно горькой крови нашей
К твоим губам поднесена
Неупиваемая чаша.

ЛЮДОВИКУ XVII

1

Я помню с острою печалью
И крыс – отраву детских дней,
Что в чашке глиняной твоей
Тюремный ужин доедали.

И на рубашках кружевных
Вконец изорванные локти,
И жалких детских рук твоих
О дверь обломанные ногти,

И лица часовых в дозоре
И Тампля узкий, темный двор,
И слышится мне до сих пор
Твой плач прерывистый и горький.

Но мать к испуганным объятиям
Не простирала нежных рук,



И не ее твой слабый стук
Будил в пустынном каземате.

2

Народной ярости не внове
Смиряться страшною игрой.
Тебе, Семнадцатый Людовик,
Стал братом Алексей Второй.

И он принес свой выкуп древний
За горевых пожаров чад,
За то, что мерли по деревне
Милльоны каждый год ребят.

За их отцов разгул кабацкий
И за покрытый кровью шлях,
За хруст костей в могилах братских
В манджурских и иных полях.

За матерей сухие спины,
За ранний горький блеск седин,
За Геси Гельфман в час родин
Насильно отнятого сына.

За братьев всех своих опальных,
За все могилы без отмет,



Что Русь в синодик поминальный
Записывала триста лет.

За жаркий юг, за север гиблый,
Исполнен над тобой и им,
Неукоснительно чиним,
Закон неумолимых библий.

Но помню горестно и ясно –
Я – мать, и наш закон – простой:
Мы к этой крови непричастны,
Как непричастны были к той.

ХОЖДЕНИЕ ПО САРАТОВСКИМ МУКАМ

Как из славного, из богатого,
Из хлебного города Саратова,
В двадцать первый голодный год
Начался великий исход
В места дальние, в места верные,
Во соседние, во губернии.
(Вот, Уфимские, мол, не выдадут).

Шли и кроткие, шли и строгие,
И здоровые, и убогие,



Ивановы, Петровы да Павловы,
Столетние деды да правнуки –
Младенчики безвинные
(Пальчики-то у них худые да длинные).

Шли – слезами горючими упивались,
Да с землей-матушкой пререкались –
Ты зачем, мол, нас обездолила,
Ни куста, ни травки – все голенько.
Ведь поля были, а теперь пустынь.
Господи, не покинь!

Вот дошли – да что-то не нравится –
Посередь поля канавица,
А за той ли канавицей водовой
Народ боевой, –
Со дрекольями, да с вилами –
Собрались видно с силами.
И кричит голодному деревенский брат:
“Православные, ворота назад”.

И восплакались тут саратовцы:
“Милые люди, милые братовья,
Ведь одному Христу мы молимся,
Под одну святу церковь волимся,



И у вас такие же детушки.
А у нас, вот, нетути хлебушки –
Попущение Божие.

А и мы не какие-нибудь – толсторожие –
Трудовой крестьянский народ:
Хлебушко есть – живет,
Хлебушка нет – мрет”.

А уфимские, колья выставив:
“Не дадим, хоть берите приступом.
Коль вас примем –
Сами помрем.
Уходите такие, сякие, немазанные,
Аль другие пути вам заказаны?”

А в других краях самим есть нечего.
И такими вот новыми предтечами
Не вернулись в деревни отчие –
Полегли на землю и кончились,
Рядышком и кроткие и строгие,
И здоровые и убогие,
Ивановы, Петровы и Павловы,
Столетние деды и правнуки –
Младенчики безвинные
(Пальчики-то у них худые, длинные).



А над ними как водится, –
Плакала в небе Богородица,
Святы ангелы отвратилися,
Святы угодники сомутились,
Сам Христос белой ручкой лицо закрыл –
 Не хватило небесных сил.
А Бог-Отец мимо них похаживал,
Седу бороду поглаживал,
Да твердил все свое, всегдашнее:
 “Искупление земное, нестрашное”.

А голодные братья в Питере
Слезы вытерли.

ЯВЬ

“Слышали? Говорят – завтра?”
“А я думала сегодня”.
“Вот будет давка –”
“Да уж, как водится, на народе”...
“А знаете – все-таки занятно”...
“Говорят вот в Швейцарии так же, публично”...

Объявляли по городу внятно,
И качели поставили у стены кирпичной
У самой паперти соборной –
Место самое видное и – просторно.



Качели как крест без двух оконечий,
А под ними сутулые плечи,
А если на цыпочки встать, да взглянуть,
Виден и язык – так, чуть-чуть.

Вешали долго, трудно, устали,
Часто мать поминали.
Помогал, как мог, сам,
Да только как-то ослаб
И кровь текла по усам –
Больно тяжел кулак
У офицеров прохожего эшелона из Брянска
(Били накануне в комендантской).

И пока нес, и пока шел,
В голове точно кто-то завел:
“Прощайте, елочки-соселочки,
“Прощай, отец и мать,
“Прощайте, барышни веселые,
“Не буду с вам гулять”.

Чуть отвяжется – и опять:
“Елочки-соселочки
“Да отец и мать”.

А какие тут отец да мать –
Народу – конца не видать.



Только жена в сторонке
С ребенком,
А другой, постарше, за юбку.
Разрешили взглянуть на последний танец
И ей, и маленьким –
“Только, знаете, чтоб у меня без демонстраций”.
Вот и встала в сторонке под старую акацию,
Стоит,
Молчит,
Только губы белые,
Помертвелье,
И маленький грудь не тербит – пустая.
А там, около, точно волчья стая,
Только и слышно: “Экая обида,
“Ничего не видно”. –
“Эй, пропустите даму”. –
“Мама, мама”.
“Вам видно? А вам?” –
“Pardon, madame!”
“Ах, какой рваный”.
“Не беспокойтесь, Анна Иванна”.
“Ну что вы, что вы”.
“Офицер-то какой-то новый”.
“Отчего же... Говорят, смерть приятная...”
“Знаете, свежо с утра, я в ватном...”
“А я и Петю взяла,



“Привела,
“Поглядим”.
“Они олово в горло, а вот и им”.
“Детям-то не хорошо бы с таких лет,
“Бог знает – какой в душе останется след”.
“Ничего, пускай приучается”.
“Глядите; глядите, качается”.
“Эй, осади”.
“Нахал, говорят – даму пусти...”
“Отдавили ногу...”
“Нет, это, знаете ли, ей-Богу...”

И вдруг голосок звонкий
Неперемогшего ребенка:
“Мамочка!
“Мама!
“Да ведь это он сам,
“Сам веревку дает.
“А они его – по плечу...
“Ой, мамочка,
“Зажми мне рот,
“Я сейчас закричу”. –

И рукой шершавой
Ротишко зажала.
“Молчи, Ванечка,



“Молчи, маленький,
“Молчи, ненько,
“Гляди хорошенько,
“Да запомни,
“Слышишь, – запомни.
“На всю свою жизнь, и память
“Положи как камень,
“Отцовские страсти. –
“И как качался,
“И как по ногам нагайкой –
“И как вот эти смеялись,
“И как вот те на цыпочки подымались,
“И как кресты на церкви не зашатались”.

Тихонечко, на ухо говорила.
И глядела, глаз не отрывая.
Божеских сил не хватило бы, –
Человечьих хватает.
Человечья страшная сила:
 И те, и эти,
 И какие-нибудь третьи, –
 Никого не милуем,
 Только – запоминаем.

Было это на Петра и Павла,
А потом еще три дня висел он,
И ходили мимо православные



Без дела и с делом,
К обедне, ко всенощной и к вечерне,
И бухал колокол мерный, –

А он качался, да слушал:

“Припахивает. Сушь ведь.

“Ишь, воронье проклятое...”

“У самого пятеро...”

“Знаете, мы ведь не против революции,

“Мы за конституцию” –

“Вот он – Мессия”. –

“Бей жидов и спасай Россию”. –

“Какой тощий”. –

“Экие ведь звери. Верно нагайкой?..”

“А черниговские мощи?” –

“А киевская чрезвычайка?” –

“Рассчитаемся, пока можно,

“На этом свете”.

“А Божье?” –

“Ну, мы-то что же,

“Начальство ответит”. –

А когда трети сутки кончились
Летнею темною ночью,
Церковные двери отомкнулися,
Царские врата распахнулися,
И пошел из них, словно в крестный ход,



Весь святой народ,
Русские православные святители:
Иван Креститель,
Пантелеймон Целитель,
Никола седенький,
Алексей простенький,
Ипатий с тремя морщинками,
Касьян – редкий именинник,
Убиенный царевич Димитрий
И все Пресвятые Богородицы
Смоленские, Казанские, Володимерские,
Скорбящая, Троеручица, Одигитрия
И другие – без всякого имени.
Шли они – как приявшие схиму,
Подошли к веселой качели,
На синее лицо поглядели,
Да и пали ему в корявые ноги,
Прямо на пыльной на дороге,
Как по самому страшному обету.
И лежали там до самого свету.

А когда утром пришли православные –
Все так же качался подавленный,
Так же плечи его сутулились, –
Только на церкви кресты пошатнулись.

Ромны, 1919 г.



ИЗРАИЛЮ

Не семь, не семьдесят, и не семьсот –
Тысячелетия ты ждешь своей Рахили,
Взникающий из праха и из пыли,
Взысканием отмеченный народ.
Как Агасфер идешь через пустыни,
Трагическим своим путем влеком,
И полон желчи, крови и полыни
Для губ твоих нескудный водоем.
Ведь дни текут, как огненные капли,
И снова пуст твой дом и восколеблен кров.

И дождь по-прежнему уныло каплет
Над кущами украинских садов,
Где в дни погромов прячут вдоль канав
Головки темные замученные дети –
Наследники страдания и прав,
Еще не прореченных в Назарете.
Ты меру мер собираешь в свой ковчег,
О граде видимом так яростно взыскуя,
И чем суровой дней унылый бег, –
Тем жарче жертвенная аллилуйя.

А мы, наследники иных времен и славы,
Потомки рас, не взысканных судьбой –



Завистливо, тревожно и лукаво
Склоняемся перед тобой.

* * *

Не творчеств дни, а умирания.
В них ничего печальней нет,
Что неоконченными здания
Останутся на много лет.

Труд, созидающий строения,
В пустых стропилах не течет,
И силу жадную падения
Не сковывает мерный счет.

Вдоль белых стен в закатном пламени
Маляр веселый не поет,
И не несет суровый каменщик
К вершинам каменный свой гнет.

К лесам закрыты с улиц доступы,
Качается пустая клеть,
И стен оскаленные остовы
Кирпичной плотью не одеть.



КРОВЬ-РУДА 1922

Илье Эренбургу

“Ходила красна девица по желтому песку, садила червонную розу. Ты, червонная роза, не примись, ты, кровавая река, уймись, кровь-руда запекись, – руда составная, руда жильная, руда телесная, руда костяная...”

Из древних наговоров на кровь

* * *

Катящая в упругих жилах волны, замкнувшая тягчайшие ключи, – не любит наша кровь дневного солнца, и по ночам вздымаем мы мечи, и любим жен своих – в ночи.

Бог всех кровей – и темных и червонных, – страшнейшую из кар своих готовь, – отступники древнейшего закона, – мы по земле ступали непреклонно и многию явили свету кровь.

* * *

Детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано, но только Она Адамово заканчивает звено.

И только в Ней оправданье темных наших кровей, тысячетлетней данью влагаемой в сыновей.



И лишь по Ее зарокам, гонима во имя Ея – в пустыне времен и сроков летит, стеная, земля.

* * *

Веселый Скотовод, следишь, смеяшь, за нами, когда ослепшая влечется к плоти плоть, и спариваешь нас в хозяйственной заботе трудолюбивыми руками.

И страстными гонимые ветрами, как листья осенью, легки перед Тобой, – свободно выбранной довольны мы судьбой, и это мы любовью называем.

* * *

Уже нестерпимо дышит над жизнью моей Азраил, но ночью проснусь и слышу шелест невидных крыл, и шепот многих и многих голосов, неслышимых днем, и чьи-то легкие ноги обходят мой строгий дом.

И знаю с тоскою в теле, и знаю с тоской в груди, что это те, что хотели через меня придти.

Но спались крепкие жилы, и кровь холодна и бледна. Темны Азраиловы крылья, приходящая ночь темна.

* * *

Лежу и слушаю, а кровь во мне течет, вращаясь правильно, таинственно и мерно, и мне неведомый нечеловечий счет чему-то сводит медленно и верно.

Алчбой бескрайною напоена струя, ненасытимая в ее потоках хищность, через века сосудов новых ищет – и вот – одним сосудом – я.



* * *

Все течет – от праматери Евы к отягченным вещами дням, через каждое новое чрево, приобщаясь все к новым нам.

Проливаем в любви и сечах, зачиная, родя, творя, нашей кровью загли реки, и цветут земные моря.

Но течет угрюмо и красно единая с первого дня, всем дням и векам участвна, и нас со всеми родня.

* * *

Только платье, язык да прическа, да немного иное жилье, да на полках Дарвин и Лосский, – но как древне тело мое.

И какие древние тайны в крови бессменной моей – от первых дней мирозданья хранятся до наших дней.

* * *

Острилось и жгло меня страстное жало, и в буйном пожаре неистовых дней я древних детенышей в яме рожала, и им эту чашу с краями отжала червонной и вспененной крови моей.

И был нескончаем запас ее красный, и в ясные ночи и в темные дни вскипала она неумно и страстно, и новые дети родились мои.

Но вот постепенно, скудея с веками, медленно в плоть докатилось мою, и ныне последние бледные капли я в малые чаши с отчаяньем лью.



* * *

Ведь были мы первые крепче и выше,
И толще дерева и травы длинней.
И волосы гуще у ночи пушистой,
И руки упруже у кряжистых дней.
И внове готовили звери и люди
Для каждовесенней, для брачной поры,
И чресла тугие, и крепкие груди,
И красную кровь для любовной игры.
Ее проливали и щедро и смело –
Веселых зачатий живое вино,
И в жилах оно и кипело и пело,
И вечное дело родило оно.

* * *

И ели впервые и первые пили,
И первые пилы и первый топор
С разбегу веселые вещи творили
И весело крепкий встречали отпор.
И весело мать для ребенка доила
Впервые от дикой козы и овцы,
И первенца в горном потоке обмыла,
И первый огонь сторожили отцы.



И были подобны веселому зверю.
Как часто я вижу их, первых, во сне,
И вижу костер в полутемной пещере,
И возле костра оплывающий снег.

* * *

Перебираю родовой архив. – Во мне ведь та же кровь – без срыва и без смены, отмщаются до моего колена ошибки бабушек и дедушек грехи.

Их зори кончены, затмились их закаты, но огнецветный незабвенный след страстей и гнева, вспыхнувших когда-то, – в крови моей цветет до этих лет.

* * *

Что знаю я о бабушке немецкой, что кажет свой старинный кринолин, свой облик выцветший и полудетский со старых карточек и блекнувших картин?

О русской бабушке – прелестной и греховной, чьи строчки узкие в душистых *billet-doux*, в записочках укорных и любовных, в шкатулке кованной я ныне не найду?

От первых дней и до травы могильной была их жизнь с краями налита, и был у каждой свой урок посильный и знавшие любовь уста.

О горькая и дивная отрава! – Быть одновременно и ими и собой, не спрашивать, не мудрствовать лукаво и выполнить урок посильный свой:

Познав любви несказанный Эдем,
Родить дитя, неведомо зачем.



* * *

Деды дедов моих, прадеды прадедов, сколько же было вас прежде меня? Сколько на плоть мою вами затрачено с древних времен и до этого дня?

Длинная, трудная, тяжелая лестница, многое множество, тьмущая тьма, вся я из вас, – не уйдешь, не открестишься, – крепкая сложена плотью тюрьма.

Ношей тяжелой ложитесь мне на плечи, – строю ли, рушу ли, бьюсь иль люблю, – каплями пота, кровавыми каплями, вы прорастаете в волю мою.

* * *

Встала женою Лота – глаз мне не оторвать. – Зубья стальных решеток, и в седьмой палате кровать.

Быть мне, быть обреченной! Если б забыть на миг этот отцовский крик в клинике умалишенных.

Крик этот время мерит, крик мне на кровь клеймом, – знаю – зубастой дверью съест меня желтый дом.

* * *

Elle était toujours enceinte.

Мопартфская песенка

О эта женская Голгофа! – всю силу крепкую опять в дитя отдай, носи в себе, собой его питай – ни отдыха тебе, ни вздоха.



Пока иссохшая не свалишься в дороге – хотящие придти грызут тебя внутри. Земные правила просты и строги: рожай, потом умри.

* * *

Я женщиной цвету в полях земных – невзысканной, негромкой и невидной, и мой удел – простой и незавидный (уделов, может быть, для нас и нет иных): поутру цвествь, дать в полдень сочный плод и сникнуть к вечеру – когда роса спадет – с тускнеющих и блекнущих высот.

* * *

Мы были, мы прошли, нас было очень много,
Колосья сникшие под режущим серпом,
Каменья серые по полевым дорогам,
Мы были, мы прошли, земля наш темный дом.

Молчали мы и нас никто не слышал
И не услышим будет голос твой,
Но каждое дитя, что в нас под сердцем дышит –
Стать может Голосом и Судною Трубой.

* * *

Небо Твое придавило, множества давят Твои, кровь оскудела в жилах, теплота иссякла в крови.



Осенний конец не страшен, – надо – склонюсь, паду, – колос с июльской пашни, плод в сентябрьском саду.

Но жизнь отнимая в Мае, Садовник и Жнец, скажи: свет Твой непотухаем до земной ли только межи?

* * *

Я тебе плохая жена,
Я тебе плохая слуга,
Я тебе не на то дана –
У меня под прической рога.
 На Лысую бы Гору,
 В полуночную пору,
 В буре да в грозе
 На козле иль на козе.
Тяжко мне обед варить,
Обед варить, посуду мыть,
Деточек класть в кровать,
По-человечьему толковать.
 Завыть бы мне на луну!
 Обнять бы в лесу сосну!



* * *

Ой, беда мне, беда, беда,
Раскипелась во мне кровь-руда.

Ключа от дверей не дашь,
В трубу улечу на шабаш,
В ступе и с пестом,
И след замету хвостом.

Ой, беда мне, беда, беда,
Раскипелась во мне кровь-руда.

По жилушкам как огнем бежит,
В головушке – как шмелем жужжит.

Ой и нечем мне кровушку унять,
Ой и некуда мне силушку девать.

Силушка ли моя девичья,
Долюшка ли моя птичья.
По весне гнездо себе вить,
Гнездо вить, птенец выводить.

* * *

Пока в девушках я хожу,
По-колдуньиному ворожу:
Старому глаза отведу,
Молодого с ума сведу,
С ума сведу и сама сойду.



А и молодец – он красив-красив,
Ало яблочко – золотой налив,
Золотой налив – тонка кожа,
Привороженный – со мной ложится.

А и тут ли конец моей похвальбе,
А и тут ли конец девичьей ворожбе,
Колдуньиному колдовству,
Ведуньиному ведовству.

До первой они до крови,
До мужеской до любви.

Ночью молодец сожмет – обоймет,
Мои девичьи ладонки разоймет,
Опояшет кругом тесемочкой,
По рубашечке алой каемочкой.



ЗЕМНЫЕ РЕМЕСЛА

1925

* * *

Не жалела я белого тела, слабых сил своих не берегла, со всеми женщинами в роду я пела, в тяжелых краснах полотно ткала.

Со всеми мужчинами любила пашню, земные ремесла, труд и жену.
– Пусть это был только день вчерашний и он давно отошел ко сну.

Немногословно, несумудро сложились вместе простые дни, великий опыт земного утра переплеснули за жизнь они.

Немного с каждого, а вместе много, в такую гору наши труды, что по всем отрогам земного лога и по всем тропам и по всем дорогам я доньше вижу свои следы.

* * *

Наследующим имя легион, но нам их лет невидим и несльшим, а как им хочется – легчайшим и небывшим – облечься в плоть живую наших жен.

И воздухом, что так тяжел и густ, дышать у нашего земного моря, и всех плодов земных – и розовых и горьких – испробовать живой и теплый вкус.

Не загасив огня и травы не примяв, кладут на все таинственную мету, но мы их чувствуем в соблазнах майских ветров и в шелестах июньских трав.



Бесплотная невидимая стая – свиваясь облаком вокруг любовных пар – колдуют легкие, умело вызывая и в теле трепеты и на ланитах жар.

А после сторожат в ночи зачатный час, чтобы войти и воплотиться в нас.

* * *

Миллионы веков назначенных я томилась в чужих телах, нагруженных земными задачами и потом обращенных в прах.

Но кончая свой век коротенький, на закате земного дня, сыновьям своим или дочери отдавали они меня.

Благодарными связана узами, но в себе этот мир сберегу ль? От ладьи с драгоценным грузом передам ли кому-нибудь руль?

* * *

Их много – кротких и прелестных в моем неизвестном роду, от чьих трудов и дней безвестных я родословную веду.

Чьи недра кроткие взрастили огромный человеческий род и чьей богоподобной силе земля покорная живет.

И если я порой мятежно хочу нарушить чинный ряд, – из вечности вздымая вежды, – неумолим их многий взгляд.



Мария Шкапская *стихи*



* * *

Потомки одной и первой
Для Хеопсовых пирамид
Жилами, кровью, нервами
Крепили подножья плит.

Солнцем и солью томимы, –
На веслах мышцы в лоскут –
Брать Карфаген для Рима
По пятеро в ряд на ют.

Первые рудокопы в Перу,
Финикийцы на первых морях,
И позже – за все веры
Сожженные на всех кострах.

И нынче у рычагов
Руки на рукоятях –
У всех машин и станков
Между собой – братья.

* * *

Расчет случаен и неверен, – что обо мне мой предок знал, когда, почти подобен зверю, в неолитической пещере мою праматерь покрывал.

И я сама, что знаю дальше о том, кто снова в свой черед из недр моих, как семя в пашне, в тысячелетья прорастет?



Мария Шкапская *стихи*



* * *

Пускай живет дитя моей печали,
Залог нечаянный отчаянных часов,
Живое эхо мертвых голосов,
Которые однажды прозвучали.

Так черноморских волн прибой в начале
Угрюмой осени плачевен и суров,
Покорствует неистовству ветров, –
Но держится челнок на тоненьком причале.

* * *

Ах, дети, маленькие дети, как много вас могла б иметь я вот между этих
сильных ног – осуществленного бессмертия почти единственный залог.
Когда б ослеплена миражем минутных ценностей земных, ценою преступленья
даже не отреклась от прав своих.

* * *

Ах, девочка, бялочка Лилит,
Откуда знаю я – какую бы была ты,
Когда велением завистливой Гекаты
До воплощения твой дух был мной убит.



Но мне все кажется – обман не изъяснимый –
Что ты б возмездием и мерою легла
За то, что девушкой так мало я была,
А женщиной была не до конца любима.

* * *

Как в темный улей черная пчела
Сбираю мед отстоенной печали,
И с лука каждого летящая стрела
Меня неуклонимо жалит.
Был горек мне к помазанью елей,
И вот цветы моих земных полей:
У нищей девочки, стоящей на ветру,
Два пальца в варежке – вспухающих и синих.
У старой девушки, озябшей поутру,
Кровати узенькой холодные простыни,
И взгляд потерянный, невидящий и белый,
Тех, что ведут поутру на расстрелы.

* * *

Должно быть, миру уготован такой блистательный конец, что им как сказкой очарован над каждым детищем отец, –



Затем, что сыновья и внуки – для нас для всех входной билет за порцию текущей муки на зрелище грядущих лет.

* * *

Причастницей войду в твою постель, закрыв глаза и открывая губы, и будет медь звенящая и трубы, и закачается над нами легкий Лель.

А после, горестно простерты перед ним, узнаем мы, что жертва негодна, и будет стлаться горько и бесплодно ее пустой и легковейный дым.

* * *

Нет перед ним ни робости, ни страха, но с детских лет и до седых волос сопутствует нам этот душный запах кровавых женских лоз, цветущих на земном пороге, и из которых виноградарь строгий нам отожмет потом искристо и пьяно все человеческое страстное вино.

* * *

Изысканный приемами лукавец, как исподволь замучивая нас, умеешь ты к испытанной отраве прибавить сладкого любовного вина, чтоб чаши смертные мы допили до дна к твоей неугасимой славе.



* * *

Лукавый Сеятель, свой урожай лелея, Ты пажити готовишь под любовь, их вовремя запашешь и засеешь и в русло нужное всегда отвести успеешь тяжелую бунтующую кровь.

Здоровую на тучный чернозем, дающий нам тугие травы, а слабую заманишь Ты лукаво в пустыню свергнуться бушующим ручьем, для видимости радости и славы, чтоб иссушить медлительно потом под солнечным сжигающим лучом.

ЧЕЛОВЕК ИДЕТ НА ПАМИР

(Поэма)

Посвящается заводу Сименс-Шуккерта
в Берлине.

I

На самой заре человеческих времен
Под небом нежным и синим, как лен,
На ложе из нежной и свежей хвои
На целой земле их было двое.
Мужчина храбр, суров и груб
Из земной челюсти прорезался как зуб.
Как сосна крепка и плотна,
Верная подруга, его жена.
По ночам осызала теплоту его плеч,
И никто между ними не мог лечь.



Но однажды с охоты пришел он вдвоем,
Острый камень принес он в дом.
Он провертел в нем большую дыру
И прикрепил к своему бедру.
“Пусть будет его место подле меня,
Я с ним охотился в течение дня”.
Жена всю ночь вместо мужниных ног
Ощущала граней его холодок.
И яростно утром ногой упругой
Ненавистный камень закинула в угол.
К вечеру боли свели ей спину,
В ночь родила она первого сына.
Но неподвижен, угрюм и груб
Камень, как зверь, залег в углу.
И казалось женщине каждый раз,
Что шурит он злобно свой круглый глаз.
И пугалась она, и, глазами блестя,
Прижимала к груди дитя.
Времени вечен и точен бег,
Камень рос, и рос человек.
Человек развил зренье и слух,
Но и камень, как зверь, не лежал в углу.
Глаз его круглый – подзорной трубою,
Дулом ружья, обращенным к бою,
Жестокое тело – тяжелым жерновом,
Полым котлом, пылающим горном.



Хвост – топором, копьём, лопатой,
Парусом острым в лицо пассатам.
Всем ремеслам и всем наукам
С человеком вместе обучен в муках.
И пока человек крепок и строг, –
Покорным зверем лежит у ног.
Но стоит человеку дать перебой, –
Выгибает спину и вступает в бой.

II

Недаром окна за стеклами,
А стекла за ставнями шурятся,
Когда утром по узкой улице
Шаги отчетливо цокают,
И на фабрику идет один –
Всех вещей создатель и господин.
Чисто расчислен труд:
Час – шестьдесят минут,
Минута – тысяча терций,
И в каждую из этих терций
Машинное бьется сердце.
Человеческое медленнее, но в такт,
Тесен у человека с машиной контакт –
Без измерений и без весов
Восемь или десять таких часов,
Зорок глаз и крепка рука, –



Человек стоит у станка.
Человек не прогнал предутренний сон.
Вертится медленно огромное колесо.
Вертится мерно стальной вал,
Человек небрежно спустил рукава.
Человек, берегись, движенья размерь:
Поднялся на лапы лукавый зверь.
Стальная челюсть крепка у него –
Взмах... крик... ничего...
Кровавая лужа, черное пятно.
Четыре часа пробило давно,
Времени вечен и точен бег, –
С фабрики домой не пришел человек.
И до утра женщина – мать или жена –
В крик кричит у окна.

III

Считают посуду дюжинами,
Аршинами плетется кружево,
Мера для железа и стали – пуд,
Но человеческий труд
Не аршинами, не пудами –
Высчитывается вещами.
И каждая вещь сама мертва,
Но вместе растут, как морской вал.



В земных берегах этот вал кипит,
Воздвигает дома, города, быт.
Руками сделана – замыкая круг
Задаёт работу тысячам рук.
И, швырнув человека последней волной,
На соседа бросает войной.
 Чисто расчислен срок,
 Каждый учтен курок,
 Полк, рота, взвод,
 Шаг, взмах, поворот.
 Может быть, останешься цел.
С картой каждый обшарен шаг,
Из окопа в окоп шагай, не дыша.
 На ружья руки. Верен прицел.
Жалостно визжат под ухом пули.
Человек стал в карауле.
Человек, берегись, человек, наклонись,
Если тебе дорога жизнь!..
Вражья рука верна –
Крик... взмах... тишина...
 Ровное поле, деревянный крест.
 На карте всех не отметишь мест.
 Времени вечен и точен ход.
 Человек с фронта домой не придет,
 И той же пулей насмерть сражена
 Мать его или жена.



IV

Как камню идти ко дну,
Как мужчине любить жену,
Как подыматься наверх теплу,
Как треугольнику кончиться в углу,
Так человеку, чтобы не умереть,
Надо победить железо и медь.
Напружены мускулы, собран дух,
Ест на ходу и спит на ходу,
С мертвым миром лицом к лицу –
Не до детей отцу.

Чисто расчислен бюджет,
Детям в нем места нет.
Дети, как цветы нежны,
Цветы бойцам не нужны.
Завтрашний день будет светел и ал,
Человек за него детей отдал.
И за это завтра, за святую ложь –
Ложится жена под нож.
В теплую плоть входит ланцет –
Крик... взмах... больше нет...
Легкое тело, раненый взгляд,
Время никогда не идет назад.
Времени вечен и точен ток.
Сорванный не расцветет цветок,



Но дитя в ночи не перестанет звать
Осиротелая мать.

V

Человек идет на Памир,
Но в нем, под ним, и вокруг
Мертвый коснеет мир,
Натруженно туп и туг.
Лопатой землю, воду веслом,
Динамитом о скалы скал,
Искуснейшим ремеслом
Неподатливый металл.
Жадными ртами шахт
Тугую гулкую землю.
Всегда в человеческих руках
Тысячи приемов и систем.
И пусть отдельный умрет, –
Человек всегда идет,
И вечно женщина от своих костей
Дает ему новых детей.
Считай, познавай, мерь,
Пусть встает на дыбы зверь,
Пусть мертвый коснеет мир, –
Человек идет на Памир.



ШЕСТАЯ КНИГА СТИХОВ, НЕИЗДАННАЯ

* * *

Не оставляй следов неполноценных
И никаких незавершенных дел –
Ни сына женщине, которой не хотел,
Ни писем мартовских – лукавых и забвенных.
 Письмо умрет, но прах его бумажный
 Встревожит, может быть, живого не шутя,
 Не радостно и незаконно даже
 От скудных ласк рожденное дитя.

* * *

Он замкнут, мой источник вдохновенья,
Его лишь твой разбудит поцелуй,
Он ждет твоей любви, твоих прикосновений
И чаши губ твоих для раскаленных струй.



Мария Шкапская *стихи*



Так золото в Алтайских рудниках
В корнях изогнутых коряжистого кедра
Свои слепительные обнажает недра
Удару заступа в мускулистых руках.

28.08.1923, Коктебель

* * *

В ковше Каверинскую Хазу
Дочитывая на лету,
Лететь в трамвае разноглазом
На Николаевском мосту.

И от пролета до пролета
Прочитывая про налет –
Забуть и Хазу, и налеты
Под бешеный трамвайный лет.

И спохватившись у Тучкова,
Что не такой, не тот вагон,
Что вез когда-то Гумилева
Через мосты, века и сон –



Сменить его на первый встречный
И, может быть, опять не тот
И дважды опоздать беспечно
К свиданью деловому – вот

Какая дань весенним светам,
Сумятице весенних дней
От ленинградского поэта.

* * *

О современности, нам милой,
Мы никогда не говорим,
А между тем в славянских жилах
Пружинит кровь Четвертый Рим.

С ним едем запросто в трамвае
И ходим в очередь в ЛЕПО,
Но как горим мы, не сгорая,
На перекрестке двух эпох.

Как непривычен и как жесток
Нам этот новый римский стаж,
И как он темен, этот наш
Унылый русский перекресток.

1924?



* * *

Быть только женщиной – и милой
Не одному, а сразу всем,
Но чтобы вместо крови в жилах
Биение тугих поэм.

И так дрожать, касаясь слова,
Как женщина, когда она
Растравлена, распалена
Предчувствием любовного улова.

И от волнения тупого и тупого
Ее ломается спина.

* * *

Одной и той тоской влекома
Нетерпеливая рука,
Когда в изгибах плеч знакомых
Дрожа касается соска.

И вот когда в тетради рядом
Неприхотливо и легко,
Естественно, как взгляд со взглядом,
Строку слагает за строкой.



* * *

Примета у лета этого –
Юбилей столетний Невы
И что быть хотелось воспетыми
Торцам со всех мостовых.

Но петь посту уныние
Ныне у нас табу, –
Мостят проспекты и линии,
Торцовый, что бабий бунт.

Примета у нас взлелеяна
На случай еще была –
Строили дом на Матвеевской
У которого-то угла.

На углу Матвеевской с вечностью,
Скажем к примеру так,
Нынче мера дел человеческих
С большим размахом взята.

И точный адрес не нужен нам –
Размыло все адреса,
И можем сказать к тому же,
Что нам туда не писать.

Не нам и обжить покрытые
Уютные дома и слова.
Так шашки однажды смьгые
О воде должны тосковать.



* * *

Тумань мне голову, тумань,
Как сладко это мне и внове.
Плывут над временем и кровью
Твои пустынные дома.

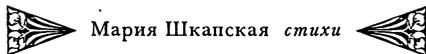
И синегрудая мечеть
Отчалила и уплывает.
И бешеным моим трамваем
За нею мне не долететь.

О волны этих рыжих крыш.
Как подлинно его волнение,
И как же он кудряв и рыж,
Безумный ветер современья.

* * *

Опять с тобой веселоглазым
Пришла и задохнулась я.
И вот отчаливает сразу
Ладье подобная скамья.

И снова мы плывем и курим
Над сонным городом моим,



Пока к светлеющей лазури
Взлетает папиросный дым.

И говоришь ты в мрак вечерний,
Когда исчезнет дымный след:
“О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суверней...”

* * *

Быть может вправду легкая игла
Или кудель, или льняная пряжа
Рукам моим простым и неумелым
Пристали больше этой трудной лиры.

Но не могу разжать по доброй воле
Священной судорогой схваченные пальцы.
Так воина рука и после смерти
Сжимает судорожно рукоять меча.

* * *

Вооружи свой глаз и наклонись, и жги.
И под палящим взором словоносца



На тысячи блистающих кусков
Вселенная внезапно распадется.
И каждый взяв в зажим своей пращи,
Ты их мечи в немотное пространство,
Пока подстреленной уподобляясь птице,
Не упадет к ногам твоим крылатый стих,
Иль не убьет стрелка обратным летом
Вселенная, собравшая себя.

* * *

Ночь была за нее и ветер –
Беглый ветер с Балтийских болот,
Надувающий горло ветер,
Ветер, птице меняющий лет.

Это ветром было разметано
Каменное белье,
И худые пальцы решеток
Не могли удержать ее.

До рассвета стыдили пушки,
Да ничто не пошло ей впрок.
И напрасно поэты в Пушкине
Замусолили столько строк.



Ночь была за нее и ветер,
Легкокрылый повеса и мот,
Что по утру заборы метил,
Подводя этой ночи счет.

ЦЫГАНКЕ

Ночь... Чернила и перо...
Белая бумага...
Все равно, друг милый мой,
До утра не лягу...
Все в ушах моих звенит
Плач твоей гитары
И гортанная тоска
Песни этой старой.
Был когда-то небосклон
Ярче и прелестней,
Звук от слов не отделен,
А слова от песни.
Ты сestroю мне была
В жизни этой милой,
Оттого и песнь твоя
Жжет с такою силой.
И когда гитары звон
Плачу вдруг подобен,



Древней родины язык
Вспоминаем обе.
Ночь... Чернила и перо...
Белая бумага...
После вечера с тобой
Все равно не лягу.

ПРОВОДЫ

В день отъезда плакал мой любимый –
Быть печальной не сумела я,
Ведь любви моей неукротимой
Не страшна тяжелая земля.
Алой кровью целый мир окрашен,
Но ведь знаем оба – я и ты,
Что над самой страшной смертной пашней
Брызнут к солнцу новые цветы.
Что в других устах еще свободней
Будут жить бессмертные слова
И что всех цветов земле угодней
По крови проросшая трава.



“КАМЕННАЯ МУЗЫКА”

...архитектуру очень удачно называют
окаменелой музыкой...

(Из словаря Брокгауза и Эфрона).

Так начинают жить стихом...

Пастернак

1

На перекрестках опять стучат
После таких перерывов,
И блеск кирпича
На саженных плечах –
Значит живы.
Льнут и лезут к этажам этажи,
Поет и визжит железо –
Так кровь к месту пореза
В здоровом теле бежит.
За ударом удар –
Так подживают у города раны,
Так у города спадает жар,
Так поправляются страны.

2

Если от центра на двадцать втором,
А потом от Народки –



В подтверждение газетной сводки
Новый строится дом.

 Не краном, не как в Германии –
 Германия ни при чем –
 Просто – идет себе каменщик
 По лесам с кирпичом.

И поет про Верку, про лето,
Про вересовый кусток,
Веселый висельник в клетке –
Каменной ветки листок.

3

Из клеток – телу, сотам из воска,
Мирам – из звездной пыли,
Этим законам – простым и острым –
Противиться мы могли ли?

 Из земных соблазнов самый стойкий,
 Самый многообразный –
 Скрыть какой-нибудь теплой постройкой
 Некую часть пространства.

И так нас радует вечный повод
Оседлость теплую эту
Противопоставить снова и снова
Кочевью планет и ветра.

Разбирали, рубили, брали –
На дрова – доски и дрань,
На буржуйки жечь и железо –
Сколько кому влезло.

А пока несли и ломали –
Плешинам пеших улиц
Прорасти хотелось домами
И жужжать, как пчелами улей.

И страстной тоской томимы
По жизни живой и теплой,
В покинутых зданьях стекла
Лопались каждую зиму.

Пятифасадное здание
Разрешено геометрически
И светит в небе электрический
Фонарь бельгийского издания.
Я учтена при схеме этой
И не горда, и не обидчива,
И включена в чертеж усидчивый,
В одну из этажевых сеток.

И в этом выверенном доме
Мне задана площадка пятая



С определенной затратою
Минут и легких при подъеме.

1923(?), Петроград

* * *

1

Еще висел на ближнем фонаре
Последний жид, и ветер, озверев
От горечи, от дыму и от сраму,
Еще срывал с заборов телеграмму
О том, что красные далеко от Ростова
И нечего метаться по-пустому.
А между тем, в предчувствии римских ласк
Свои расчеты меркантильно снизив,
Как женщина, дрожал Новочеркасск
От поступи деникинских дивизий.
Они текли с обозом на восток,
Созвездиями новый путь измерив,
Предчувствуя, но все еще не веря,
Что это в самом деле эпилог,
Что некому наследственные иски
Теперь чинить, и что вот в этот год
Пошел ко дну тяжелый пакетбот,
Что звали мы Империей Российской.



“Глоток воды”. – “Нельзя, закрыта будка”.
“Глоток воды”. – “Нам на семью ведро,
Да очередь с утра по первопутку”. –
“А наша очередь – вот в этот черный ров”.
“Глоток воды. А за него возьмите
Вот эту шаль – теперь уж все равно”.
И черпает, пока не глянет дно,
И все не может жажды утолить.
А после, уходя в глухую ночь,
Не поглядит умышленно назад,
Но шупают его через цепочку
Опасливые серые глаза.
Два слова вскользь, о гуннах и Аттиле –
(На ставнях болт, а на дверях замок)
И – жадно мерит шаль перед трюмо
При тусклом свете маленьких коптилок.
О, обыватель, в полушубке вошь,
Как о тебе страшна доньине повесть –
Ты за жилетку жизнь отдашь,
За соль выменивая совесть.
Так вымерены торные тропинки,
Так дорого яйцо к Христову дню,
Гусь к Рождеству, да к Троице ботинки,
Да то, что хата встала на краю.



Пусть под окном идет, шатаясь, время,
И пусть лежит в обломках старый мир –
Грызясь за них и с этими, и с теми,
Используй ты их на свой сортир.

3

Где же, матери, ваши дети?
Руки слабы, ветер силен.
Видно, сдул их веселый ветер,
Скифский ветер с семи сторон.
Как он свищет и как он воеет
В этот страшный меченый год, –
Было двое их, помнишь, двое,
А не стало ни одного.
В полушубке и в куртке новой
Синеглазый мальчик кадет
Уложил во рву под Ростовом
За царя свои девять лет.
Ветер путал волосы ночью
И какие-то нес слова,
Полотняным его платочком
Утирала глаза трава.
И пока искали в мертвецкой
Между шгабелей синих тел –
В промежуток от смерти к детской



Скифский ветер, смеясь, летел.
А другой – ты припоминаешь –
Шрам над бровью наискосок,
И в глазах синева такая ж,
И такой же сухой песок.
Как неведеньем мы богаты –
Это матери невдомек.
Может быть, это он для брата
У винтовки спустил курок.
А теперь в городской больнице
Грудь, проколота штыком, –
И ему ничего не снится
Про тебя, про отца и дом.
Как стояла она над этим
Под покровом из кумачу –
Был к ней добрым веселый ветер –
Загасил ее, как свечу.
И над сердцем ее тяжелым
Так мягка и легка земля.
Ветер, ветер такой веселый,
Так просторны твои поля.

Дали волю любить Колю,
А теперь хотят унять,



Опустили камень в воду –
Тяжело теперь поднять.
Колю знаю по походке –
Вот к окошку подошел.
Мы теперь товар не ходкий,
Спрос на мальчика пошел.
Ой, подруженька, с вечорки,
Нам с тобою не дружить –
Радость – горе мы делили,
А любовь не поделить.

Крутит ветер посконный подол,
Ветер весел, да темен дол,
Ой и редок в задолье лен –
Гдей-то видано до наших ден,
Чтобы девка набивалась сама,
Только б девичья наполнилась сума.

1924 (?)



ЦА-ЦА-ЦА

1923

Она была русская, он китаец.

Оба они жили в Париже, и их русско-китайские сношения велись на французском диалекте.

Он знал о русском снеге и белых медведях, она пила китайский чай и собирала китайских божков.

Домой им обоим было нельзя вернуться, и с горя она рассказывала ему русские сказки, а он декламировал ей китайские стихи.

Что запомнил он из русских сказок – надо спросить у него, а то, что запомнила она из китайских стихов – записано здесь.

ОДИНОКАЯ, КАК ЖУРАВЛЬ

Исстари и до сих пор существует обычай прогонять жену, если она стала стара и некрасива.

Но прежде хоть помещали ее куда-нибудь, а сегодня Вы меня прогоняете, и я не знаю – куда я пойду.

Я не знаю, где моя семья, потому что с Вами устраивала я новую семью.

Я вернусь в то место, где стоял мой дом и буду плакать у чужих ворот.

Помню я дни моего девичества. Слышала я, что Вы богаты и добры, что много у Вас шелковых тканей, на которых золотом вышиты драконы; что проходя по улицам много денег бросали Вы бедным.

В пятнадцать весен я уже решила выйти за Вас замуж. Но волосы наши недолго смешивались на одной подушке.



Вы уехали в путешествие, а я осталась дома одна.
Все другие семьи счастливы, потому что в них и муж и жена вместе.
А я всегда была одна, и когда мне было грустно – некому было меня утешить.

Как в глухом лесу была я в своей комнате, всегда печальная и одинокая, как журавль.

Печаль старит женщину, лицо ее теряет краски, глаза – блеск.

Но я думала, что и Вы печальны в разлуке и ждала Вашего возвращения.

Влажны были от слез покрывала моей постели. Голос мой стал глухим от долгого молчания. Я не красила своих щек, не умасливала волос, и стало лицо мое, как покрытое пылью.

А мысли мои летели через моря и реки в ту сторону, где были Вы.

Но счастливые годы растаяли, как иней: Вы вернулись, а я уже старая.

Вы любили меня пока я была прекрасна – старая же я Вам наскучила.

Останавливаю свои слезы, печальная как осенняя трава выхожу я из комнаты.

Недолго была я в ней счастлива, но много плакали в ней мои глаза.

Немного беру я с собой из Вашего дома: одно только платье да флейту.

Немножко жизни осталось мне, но и ту не знаю я куда мне снести.

Как могла я остаться прекрасной? Ведь и желтые цветы падают осенью в темный пруд. Ведь ветер качает тополя и уносит с них увядшие листья.

Женщина вся от мужа: хочет он, и она останется вечно юной, как сосна, которую питает свежая вода.

Закрываются пруды от солнца желтыми кувшинками, но уйдет вода из пруда, и кувшинки падают на дно, в скользкую тину.

Муж как вода, жена как кувшинка. Как могу я жить теперь, если муж мой меня покинул?



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда был я маленьким – мое сердце удерживало меня в родной деревне.

Я не хотел идти в город, не хотел быть известным, был маленький, толстый, здоровый, и не было в голове моей много мыслей.

Я любил горы, леса и шум ручьев.

Но и я попал в эту западную, поставленную для большого зверя-человека – в город. И был там тридцать лет.

Перелетные птицы всегда думают о родном лесе. Рыба всегда помнит о родной реке. Вот и я вернулся в свою родную деревню.

Она такая маленькая: несколько хижин, перед каждой персиковое дерево. Как в тумане вижу я соседнюю деревню. На пустой улице лают собаки и поют птицы на деревьях.

Широко открываю двери в свой дом и касаюсь лбом родного порога.

Усталое сердце и отравленный ум принес я из города.

Пусть бы лучше дикий лес моего разума оставался нетронутым и не вырубали бы в нем мощных деревьев для того, чтобы на их месте вспахать это жалкое поле.

ЛИУ-ЛИН

Лиу-лин, лиу-лин, чему тебя уподобить?

Ты не походишь ни на одну из других шелковых тканей.

Ты как непрерывный серебряный водопад в небесных горах при лунном сиянии.

Ткань твоя, как весенняя земля, покрытая белым туманом, или как цветы, смешанные со снегом.

Лиу-лин, лиу-лин, кто сделал тебя и кто тебя наденет?



Соткала тебя бедная девушка из маленькой деревушки, а наденет тебя первая жена Императора.

Это по ее приказу в этом году на лиу-лин должны быть вытканы треугольники улетающих журавлей цвета весенней воды.

Блестит ткань, блестит узор и все вместе, – как серебряные волны.

Вот стоит дворец первой жены Императора Цю-Ян.

Его полы будут мести шлейфы, стоящие тысячи лан.

Попадает на платье пудра, пачкают его белила и румяна и – раз наден его, выкинут вон.

А чтобы ткать лиу-лин – нужен шелк такой тонкий, что у девушек болят пальцы.

Тысячу раз скажет прялка свое “ца-ца-ца”, а у девушки в руках не будет и одного метра.

Если бы первая жена Императора видела хоть одну девушку за работой, может быть она оценила бы больше свое новое платье из лиу-лин, которая подобна непрерывному серебряному водопаду в Небесных Горах в момент лунного сияния или цветам, смешанным со снегом.

ЧЕРЕЗ МНОГИЕ ВЕРСТЫ

Иду по реке, собираю цветы. Трудно искать их в высокой траве. Цветы собирают, чтобы кому-нибудь дать. Но кому же я дам их, кому? Близо – чужие, а родные далеко, только думать о них дано мне теперь. Вот повернул я в ту сторону голову. Там, далеко, – родная страна, из которой меня изгнали.

Через многие версты, через многие реки, через многие горы, ее не увижу, никогда не увижу я.



ТАК И МЫ РАССТАЕМСЯ

Подними голову – погляди в небо: одна за другою несутся тучи. Едва коснулись и уже расстались, и уже потеряны одна для другой.

Так и мы расстаемся, так и мы теряемся в этом мире.

Опусти голову – посмотри в море: одна за другою проходят волны. Едва столкнулись и уже расстались, и уже потеряны одна для другой.

Так и мы расстаемся, так и мы теряемся в этом мире.

КАК И ПРЕЖДЕ

Теперь, как и прежде, облака спокойны над нами, но и теперь, как и прежде, болит человеческое сердце.

Приходим на эту землю на такой короткий срок. Немножко молимся, немножко плачем и снова уходим неизвестно куда.

А в горах, как и прежде, щебечут птицы и журчат лесные ручьи.

Что нам осталось от живших прежде? Только зеленая трава, да голубое небо.

И как бы ни болело мое сердце – не двинется туман, и мирно дремлют деревья вокруг спящих озер.

БИ-БА

Широка, глубока река Сюнь-Ян. До самой реки провожаю я моего друга, который привез мне немного родного воздуха.

Он должен уехать, а я должен остаться в чужой стране.

Красные листья на деревьях, и осыпались цветы. Что это за звуки: “са-са-са”? Это осенний ветер свистит в печальных деревьях.



Мы сходим с лошадей и идем к берегу, где стоит лодка моего гостя. На прощанье пьем вино и говорим друг другу красивые стихи. Подняты бокалы, надо пить, но как пить без музыки? А в этой стране нет никого, кто бы играл.

От вина пьянею, но не делаюсь веселым. Разве можно быть веселым, когда надо расстаться?

Река глубока, широка, и в ней утонула луна.

И вдруг где-то тихо-тихо запела би-ба́. Звуки словно вышли из спокойной воды.

Хозяин забыл, что ему надо вернуться, гость забыл, что ему надо ехать. Глазами ищем того, кто играет. А би-ба́ все звенит тихо и застенчиво, словно молодая девушка, когда она говорит с мужчиной.

Вот подъехал челнок, и в нем женщина, закутанная в шаль.

Зажигаем разноцветный фонарь, снова наполняем бокалы. Тысячу раз, десять тысяч раз говорим ей “выйдите к нам”, но она не выходит и прячется за занавески своей лодки.

Наконец вышла она, по-прежнему закутанная в шаль, а под шалью – би-ба.

Она трогает струны. Это еще не песня, но в этих первых звуках уже сквозит ее сердце.

Так печальны, так задумчивы они, точно рассказывают о прошлом, точно жалеют о том, что могло быть встречено, но не встретилось.

Закрыто лицо ее, но она показывает нам свое сердце.

Трогает верхние струны, и говорят они “ци-ци-ци”, точно кто-то говорит тихо-тихо и не хочет, чтобы его слышали. Трогает нижние струны, и они рокочут “гоу-гоу-гоу” подобно торопливому проливному дождю.

А все вместе – будто крупный и мелкий жемчуг, падающий в нефритовый сосуд. То будто летние птицы поют над цветами и листьями, то



будто легкие текут ручейки в горах. То смолкнет совсем и вдруг словно разбилась дорогая серебряная ваза и брызгает из нее радостной струей вино. Будто настал час радостной сечи и выскочил воин из засады, звеня оружием за собой.

И река слушает, и челноки на ней замерли, и только посреди реки белая осенняя луна.

Кончилась музыка, встает она со строгим лицом. Распахнула шаль, и видят ее дорогое платье.

И она рассказывает: “Я дочь знатного мандарина из столицы и с детства играю на би-бе. Целый город знал мои песни. Но умерли мои родители, и я стала играть, чтобы не умереть с голоду. Взял меня замуж купец, который не думал о любви, а думал о торговле и часто меня покидал.

И вот теперь я стара и некрасива, и холоден мой дом, и далеки-далеки мои молодые годы.

И в этот раз – муж уехал за чаем, а я осталась стеречь пустой челнок. Вода ударяла в его края, светлая луна глядела ко мне, воздух был холоден и суров. Я думала о прошлом и стала играть на би-бе”.

Мы молчим и слушаем ее рассказ. И я нагибаюсь к ней, беру ее руку и говорю: “Как только я услышал би-бу, я сказал себе: “вот родная душа”. Услышал шум Ваших слов легкий и острый “Ци-ци-ци” и сказал себе: “и она одинока”. Если встречаются одинокие люди –им не надо слов и не надо знакомиться.

Я тоже до прошлого года жил в столице и недавно приехал на Сюнь-Ян. Здесь тихо, пусто и нет музыки. Можно прожить целый год и слышать только жалобный вопль обезьян.

Сыро и пустынно кругом и низок камыш. Только одна птица поет здесь, – птица ду-дзюнь, которая умирает, когда уходит весна.



Расцветают весенние цветы, спускаются осенние ночи, а я всегда один пью свое вино.

Когда Вы начали играть – Вы рассказали и свою и мою тоску. Если Вы сыграете еще – я напишу стихи, которые останутся навсегда”.

Она встает, лицо ее печально, и плачет би-ба́.

А я пишу ей эти стихи и не знаю, кто из нас больше плачет, когда нам надо расстаться.



И – надо мной.
Растворила стальные мысли,
И звучных образов нет,
И над ярким тени нависли,
И гаснет свет.
И растет большое желанье
Вечного белого сна...
Лукавы спящие зданья,
Плачет весна.
Белая ночь
Черным соблазном полна.

13.06.1913, Псков

ПОРТРЕТ ЛЕОНИДА ВИТМЕРА

В его руках мечта, а не тросточка.
Галстуки он завязывает восхитительно.
В нем чувствуется белая косточка.
Движения его ни медленны, ни стремительны.
Он читал Уайльда и Верлена,
Увлекается Эдгаром По и Бодлэром,
В Люкетте изучает Родэна
И на выставках отыскивает Каррьеера.
Об искусстве он говорит недурно
И у женщин пользуется огромным успехом –



Одной нравится галстуком, другой смехом,
Третьей – тем, что поет хоть не сильно, но бравурно.
Будь он француз – он был бы бонвиваном
И жизнью пользовался бы более, чем в меру, –
Проводя ее за винным стаканом
И на женщинах делая карьеру.
Но он – русский. А у этой нации
Очень остро стоит вопрос о “жительстве”.
Они качаются от революции к ресторации
И от Саши Черного – к богостроительству.
Поэтому он жизнью не наслаждается
И день за днем у него падает в черную яму.
Он живет в Женеве, ест мороженое, ругается
И – не жалуясь – носит в душе драму.

17.08.1913, Женева

* * *

Мой крест сломила злая буря.
Так жаль.
Она ушла. Вновь голубой лазурью
Оделась даль.
Мой крест в своем большом размахе
Ту даль скрывал.



Мария Шкапская *стихи*



Он много лет держал Христа на плахе,
Теперь упал.
Пустая степь с могильными крестами
Передо мной.
И призрак с мертвыми глазами,
С косою.
Не смерть страшна. Перед ее косою
Душа чиста.
Нет, страшно то, что даль передо мною
Пуста.

2.10.1913, Тулуза

* * *

Рисует черным ночь, но голубые пятна
Кладет фонарный свет –
Неверный свет – блестящий и нарядный
На правду дня вечерней лжи ответ

Рисует черным жизнь, но радостные пятна
Любви означат след –
На низких истин тьму – блестящий и нарядный
Прекрасной лжи, любовной лжи ответ.

30.10.1913, Тулуза



ЭРЕНБУРГУ

Я пишу из солнечной Тулузы
В ярких красках солнечного дня.
Песни Вашей трогательной Музы
Так до боли тронули меня.
Много нас, забытых на чужбине,
С корнем взятых из родной земли, –
В даль уплыли жизни корабли
Мы не в море гибнем – мы в трясине.
Наше сердце там, где изнывая
Одноцветна, жалка и бедна
Как в постели тяжело-больная
Разметалась грустная страна.
Мы не можем жить ее страданьем,
Но о нем не смеем позабыть, –
Тяжесть жертв ее и боль рыданий
Нам с души не скинуть, не избыть.
И в тоске бесплодной убивая
То что жизнь дала чтобы творить, –
Мы несем свой крест изнемогая
И не смеем ни уйти, ни жить.

14.02.1914, Тулуза



НОЧЬЮ

Немели стекла. Город спал.
Молчанье улиц было странно,
И полз куда-то неустанно
Змеистой линией канал.
 Не в силах дремы превозмочь,
 Грустили сонные бульвары,
 И танго танцевала ночь,
 И каменели тротуары.
Я мял бульварную траву,
В тумане влажном гасли спички,
И ветер шевелил листву,
Как мертвой девочки косички.
 Была душа, как ночь, пуста,
 Грустна, как сонные панели,
 И были сомкнуты уста.
 И раны старые болели.

14.02.1914, Тулуза

* * *

Кто-то умер в нашем доме,
Чье-то тело стало труп.
Сколько боли в злом изломе
Тонких губ.



Кто-то с мертвым ждет разлуки,
Для кого-то вносят гроб.
Чьи-то стали бледны руки,
Влажен лоб.
Слёз без счета, слёз без меры, –
Мать, невеста и сестра.
В складках черные портьеры, –
Боль остра.

23.02.1914, Тулуза

О ПСКОВЕ

Город ласковый, старинный,
Гулкий благовест и длинный,
Крестный ход – святой и чинный,
Протопоп и благочинный.

Архиерейский бас могучий
Вьется, льется, нежит, мучит,
Весь соборный двор озвучив
Мчится к небу, дразнит тучи.

Крестный ход рекой отсвечен,
С колокольни свет замечен,
Чьи-то руки... Чьи-то плечи...
Сдвинь хоругви! Ближе свечи!

20.04.1914, Тулуза



ПРОЩАНИЕ

Было грустно наше прощанье и оставило жгучие ранки. Вечно помнятся – утро в тумане и грязный коридор в охранке – такой облезлый, серый и длинный. Какой-то противный запах, лица, затянутые паутиной, и руки, как поганые лапы.

Звяканье шпор за дверью, портреты Царского дома, и тоска все злей и безмерней, и за дверью голос знакомый.

И вдруг меж двумя чужими дорогое лицо больное, холодное и стальное, чтоб себя не выдать пред ними.

Под взором упорно-липким крик безмолвный о вечной разлуке. Глазами к глазам приникли, и сломались губы от муки.

Неразумье разлучной боли, желанье кинуться следом – и железом ставшая воля, и над болью воли победа.

А потом... потом одиночка и эта нелепая заграница, чужие французские лица, и нельзя ни рыдать, ни молиться, чтобы час приблизить урочный.

30.04.14, Тулуза

РОДНОЕ

Псков мой чудесный. Родное мое Завеличье,
Улица грязная и гнилые мостки.
Всюду сады, а в садах щебетание птичье,
В небе широкие голубые мазки.

Ласковым вечером, вдумчивой нежною ночью
Песней озвучена голубая река,
В небе печалятся тучки – кудрявые клочья,
Милы и близки птицы, река, облака.

Выйдешь на улицу – каждая баба знакома.
Это ль не радость. Это тебе не Ozenne,
Всё это русское, наше... Соскучишься дома –
В Пушкинский Дом, а не в парк Toulousanne

Поздно вернешься. Притихшее спит Завеличье,
Чутко открыта душа для радостных снов.
Молишься старым и новым богам без различья.
Если б в Россию родную... Если бы в ласковый Псков.

7.05.1914, Тулуза

* * *

Погаснут дневные обманы
На стеклах, на башнях, в домах,
Печальные лягут туманы
На синезеленых холмах.

Ночь жалобно вечер оплачет,
Пролив свой серебряный свет,
И в небе уснувшем означает
Ажурной листвы силуэт.



Не станет по новому ново,
И будет глядеться в реке
Весна в вуалетке лиловой
И с тонкой перчаткой в руке.

7.05.1914, Тумуза

“ТЫ” И “ВЫ”

Я остро не люблю сближающего “ты” –
Оно как комната, в которой все знакомо.
Как нераскрытые, как ждущие цветы –
Почтительного “Вы” мне сладостна истома.
За этим строгим “Вы” всегда тонка печаль,
Но неисчерпана бездонная возможность,
За ним скрывается в печальную вуаль
Касаний ласковых пьянительная сложность.
Почтительное “Вы” кладу, как талисман,
У входа строгого души моей чертога. –
Кому не сладостен его живой обман –
Не перейдет ее заветного порога.

15.05.1914, Тумуза



ОПЫТНОСТЬ

(ИЗ АНРИ ДЕ РЕНЬЕ)

Вслед за ними я шел. Поцелуй прозвучал.
Отделился легко голубой силуэт
От осенних небес – от туманных зеркал,
От небес, где тепло перламутрился свет.

Гневно билась волна о прибрежный утес,
Ткали ласки свою златоструйную нить!
Но ни боли, ни трепетных зависти слез,
Ни любви, ни тоски я не мог ощутить.

Пусть идут, убаюканы ласковым сном,
Пусть шумлив легких волн шаловливый эскорт.
Я – весь в прошлом. Они – в настоящем, в живом, –
Но предвигу так четко последний аккорд.

Май 1914, Тулуза

* * *

Я была в сумасшедшем доме, обошла четыре палаты, где везде на полу линолеум, а стены обиты ватой.

Безнадежен покорный ступор, но как звери страшны маньяки, голос резкий, звучный – как в рупор, рукопашные схватки, драки.



Это наши младшие братья. Это наш неокрепший разум за свои ослепленья платит, за минутную власть наказан.

Рядом с нашим реальным миром их особый мир фантастичен, населенный бесовским клиром, или тихий, немой, безличный. Но и в этом мире, как в нашем – столько боли, столько страдания, что совсем-совсем неважно – за которым есть основания.

1.06.1914, Тулуза

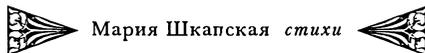
* * *

Хорошо обнаженным мечом
Пролагая назначенный путь
Врат последних заветным ключом
Никогда не хотеть отомкнуть.

Не разрушив последнюю связь
Вечно верить в прозрачный обман,
Обесценить познаьем боясь
Святость в битве полученных ран.

И порвав Ариаднину нить,
Что вела к заповедным вратам,
– так по рыцарски ключ предложить
Чьим-нибудь утомленным рукам.

2.06.1914, Тулуза



* * *

Обнажите зеленые дерны,
Дайте выход подземным ключам,
Их немолчным и гневно укорным
Речам.

И примите в журчащих намеках
И земли непорочный привет,
И далеких прозрачных истоков
Завет.

Станет жизнь несказанно правдива,
Как весной трепетанье листа,
Как ручьи оросившие нивы
Чиста.

3.06.1914, Тулуза

НА ВОКЗАЛЕ

Истерический кондуктора свисток, поезда ушедшего красный огонек,
впопыхах пожатая милая рука и – веригами одевшая тоска...

Господи, как часто провожала я уезжающих в далекие края!

Каждый увозил с собою часть в прошлого развернутую пасть, в наглый и кровавящийся зев. И душа поникла опустев – как оставленный танцующими зал, как с отходом поезда вокзал.

11.06.1914, Тулуза



* * *

Сегодня солнце всё в морщинках
И небо – как писал Каррьер.
Со мною томик Метерлинка
И неразумный фокстерьер.
Сижу на влажных серых скалах
И в океановый простор
Безмолвно погружаю взор
И тонет он в морских опалах.
И мысль – как рокот волн ритмична
И ей светло осознаю,
Как ровно, ровно, безразлично
Я всё живущее люблю.
Приставшая на скалах губка,
В камнях яичная скорлупка,
И даже камень этих плит
Мне всё о жизни говорит.
Во всем великое движенье
И каждый камень точно след
Всеоживляющих волнений,
И мраку равноценен свет.
Но под равняющей струею
Две вещи выделяет взгляд:
О чем-то большем, чем другое
Мне океаны говорят.



И след того, за чем бессмертье,
В собачьих светится глазах.
Любви, поднявшейся над смертью,
Любви, преодолевшей страх.

21.07.1914, Бретань

НА ГРАНИ

Я вся из острых углов,
Всегда, для всех – недотрожка.
Боюсь завершенных слов
И правды боюсь немножко.

Черчу, заклиная, круг
Для чуждых, громких и резких,
За грусть нетрогавших рук
Служу свои злые маски.

Куда-то ведут – куда? –
Следы на спутанном плане.
Безумье и жизнь всегда
На острой, как бритва, грани.

Над властью грани побед
Тонка и сладка отравы.
Я вне ваших “да” и “нет”.
Как маятник – влево... вправо...

29.07.1914, Бретань



БУЛАВКИ

Люблю стальные булавки,
Угрозу их тонких жал.
Влечет мои взоры в лавке –
Дамасский кривой кинжал.

Один на исходе лезвий
Острится на все ответ.
Лежит на стали, железе –
Суровых заклятий след.

С пытливым ушком иголка
Большому мечу сестра –
И в ткань проникая колко,
Как он – правдиво остра.

Блестит золотой заставкой
Грядущей жизни рассказ,
Но верю стальной булавке
Узнавших заклатье глаз.

30.07.1914, Бретань



* * *

Я верю только в ласку рук,
В тепло живых прикосновений; –
Пока их узкий сомкнут круг –
Я не боюсь сопоставлений.

Уйдут касанья милых губ,
Согревших тело, руки, шею,
И вмиг любовь, как детский труп,
В моих руках похолодеет.

Откроет время злую пасть,
Порвутся тоненькие нити,
И ярче красочная власть
Других людей, других событий.

4.08.1914, Бретань

ГАЗЕТЫ

Приходит белый листочек
С наколотым танцем слов,
И прячется между строчек
Колючий блеск катастроф.



Сегодня у черных строчек
Зловещий траурный бал,
И каждая остро хочет,
Чтоб кто-то с воплем упал.

У каждой из слез оправа
И длинный шуршащий креп.
Они, как стрелы с отравой,
Но кинувший стрелы – слеп.

4.08.1914, Бретань

БУДЕТ

Будет светлая больница,
Доктора и две сестры.
Будет грудь в жару томиться,
Будут сны и бред пестры.

Жизнь в приливах и отливах,
Змейки белые – бинты.
И сиделки воркотливой
Станут мамины черты.

Будут стены раздвигаться,
Открывая светлый круг,



И в сознании отливаться
Ласка чьих-то белых рук.

Остановит сердце острый
Несказуемый восторг,
И уйду легко и просто
В неотчетливый простор.

14.08.1914, Бретань

* * *

Океан рассердился сегодня –
Вероятней всего оттого,
Что смелее себя и свободней
Не нашел на земле никого.
Кинул волны расплавленной стали
К потемневшим как ночь берегам
Похищая небесные дали
В дар блестящим морским жемчугам.
И в зарытой в песках котловине
Черным лапам израненных скал
Чей-то труп безобразный и синий
Как залог своей мести отдал.

30.08.1914, Бретань



* * *

По ночам мне немного снится
Сон для нас – как нежная мать.
В полуночной книге страницы
Не могу никак дочитать.
Я слежу за собою строго,
Но сильнее соблазны слов
И порою сонного бога
Умоляю поднять покров.
Утопаю в молочном море
И несдержанных слез поток
Заклинаниям сна покорен
Омывает старый ожог.

6.09.1914, Бретань

ЛЕОНАРДО

Не смотри на меня с упреком,
Леонардо Винчи портрет.
Я не справлюсь с своим уроком,
Ни упорства, ни воли – нет.

Ведь душа нестройна невольно,
Хоть твоя система стройна!



Будь спокойной. – А рядом больно.
Будь бесстрашной. – А тут война.

Кто-то прав. Для всего есть место.
Но зачем же в людскую грудь
Надо было “Ему” вдохнуть –
Столько боли и столько протеста?

15.12.1914, Тулуза

ВЕЧЕРОМ

Вечер печальный и зябкий
Плачет осенним листом.
Мягкие белые тряпки
Делаю длинным бинтом.

Ровные тонкие стежки
Злым ожиданьем полны.
Это из сердца дорожки
В самую гущу войны.

27.12.1914, Тулуза

* * *

Для нас война – это повязки,
Белье, табак и бинты,
Детям беглецов сказки,
Раненым на вокзале цветы.

Блестят на иконах ризки,
Вечерний благостен звон.
За далеких и близких
Положишь земной поклон.

Пусть нам не делают упрёка,
От которого больно всегда:
Что мы как птицы, что не ходят далеко
От насиженного гнезда.

Пусть война привлекает очи,
Но надо же тех сберечь,
Кому ушедший захочет
Тяготу сбросить с плеч.

Отдает свою кровь отчизне
Шумная многоликая рать.
Но служит не отчизне, а жизни
Тихая безмолвная мать.

7.01.1915, Тулуза



О ЗАТАЕННОМ

Будет это в первый или в сотый?
Позовут знакомые места –
Узких лестниц темные пролеты
И перила шаткие моста.

Повлечет опять непобедимо
Из окна шестого этажа.
Снова станет власть неодолима
Пистолета, бритвы и ножа.

Будет влечь настойчиво и длинно
Всюду темного коснуться дна.
Не смогу по-детски беспричинно
Остаться в комнате одна.

Будет это в первый или в сотый?
Позовут знакомые места –
Узких лестниц темные пролеты
И перила шаткие моста.

10.01.1915, Тулуза



О ПЕТЕРБУРГЕ

Знаю я – стоит на прежнем месте –
Призрачный и шумный и пустой,
Белой уподобленный невесте
С дымчатой измятою фатой.

Жизнь идет широко, заполняя
Странные коротенькие дни.
Звонко одеваются трамваи
В красные и синие огни.

Кажется похожим на когда-то
Виденный и позабытый сон.
Снег лежит как шелковая вата,
Улицы закутаны в картон.

Тонким обаяниям послушна,
Чувствую в душе твои следы –
Весь ненастоящий и воздушный
Город, выходящий из воды.

12.01.1915, Тулуза

О СЛОВАХ

Светятся как тонкие лампадки
В сумерках заметные едва –
Искорки завернутые в ватке –
Нежные и теплые слова.

Их нерастворимые кристаллы
Смотрят с опечаленного дна
Узкого граненого бокала
Темного и сонного вина.

Ласково, настойчиво и много
Сыплю их на пройденном пути.
Пусть они кому-нибудь помогут
Снова подыматься и идти.

12.01.1915, Тулуза

ПЕЧАЛЬ

Над опечаленной душой
Не потерял очарованья
Лишь мир наивного преданья
Такой простой, такой большой.

Страницы пожелтевших книг
Гласят уверенно и важно
Что было гулко и протяжно
На старцах звяканье вериг.

Что за правдивые уста,
За окровавленные руки
За желчь принявшего Христа
Так были сладки злые муки.

Своей наивной простотой
Колдует древнее сказанье
И разум скорбный и пустой
Родит во мне одно желанье:

Пронзенный острием меча
Неизреченных умилений
Гореть и таять – как свеча
Его заоблачных селений.

25.01.1915, Тулуза

ОТЧЕТЛИВОЕ

Ничему далекому не верю
И, склоняясь, нежа и любя –



Знаю: в нас запрятанному зверю
Так легко обманывать себя.

Каждый день все проще и свободней
Поглощает темная дыра,
И в дыханьи знойного сегодня
Все тускнеют тихие вчера.

Оттого, что кто-то, Милосердный,
Зная – слабым бремя не снести,
И к любви настойчивой и верной
Заказал печальные пути.

23.03.1915, Тулуза

* * *

Счастливые часто жестоки
И в прошлом так помнят зло,
Разрывы, паденья, упреки –
И так забывают тепло.

Нас горечь и боль делили –
Ничто не нарушило уз.
Но нужно так много усилий
От счастья сберечь наш союз.

5.04.1915, Тулуза



ГОРАМ

Я люблю вас за то, что вы сини
И ушли от земли далеко,
И до ваших застенчивых скиний
Высоко – высоко.

Я свой крест поднимаю на плечи
Как велит ваша снежная власть,
Надо чьей-нибудь робкой предтечей
Подниматься – и пасть.

Будет путь и обрывист, и страшен
И пройдет надо мною бледна,
Между горных уступов и башен
Мать безумий – луна.

Будет ветер мятежный и строгий
Обрывать по камням карниз,
Но в горах безысходны дороги
Или вверх – или вниз.

Вашей каменной воле покорна,
Покидаю равнину и дом,
И суровый, крутой и упорный
Выбираю подъем.

9.05.1915, Пиренеи



* * *

Хочешь подняться ввысь – берегись, в ночи не оступись, не попади под ноги, не видать иначе дороги. Упадешь – не поднимут, упадешь – отринут.

Уйдешь в землю по плечи – зажгут свечи, прочитают отходную по исходному, да и снова в путь. Кого-то вернуть, кого-то догнать, кому-то что-то сказать, мечтать про власть и – тоже упасть.

Кто для тебя копал – может первый упал в наказание за поспешенье. Да тебе-то ведь это не утешенье.

Пусть хоть тоже, да позже...

8.12.1915, Париж

ПЛАЧ МАТЕРЕЙ
(“На реках вавилонских”)

И дни были скорбные, страдные,
И мир бездомен и нищ,
И слепо разинулись жадные
Ворота больших кладбищ.

И там над родными могилами
Был скорбный елей возлит,
И тяжело звучали над милыми
Слова простых панихид.



Пусть хоть кости в могиле
согреются,
Если в холоде умерло сердце.

13.01.1916, Париж

ЮДИФЬ

Я от стражи бежала как серна,
Уронила свой плащ впопыхах,
Но была голова Олоферна
У меня на дрожащих руках.
И ее, дорогую, качала
Я всю ночь на опушке лесной,
И седая сосна расстилала
Свой зеленый шатер надо мной.
А когда бледно-желтые стрелы
Кинул в спящих зардевший восток –
Я зарыла ее неумело
И над ней посадила цветок.

14.04.1916, Париж



МЕСЯЦ

(из Я. КОЛАСА)

Тихо месяц одинокий
Ходит в небе над землею.
Неразгаданный, далекий,
Что ты видишь под собою?

Видишь слезы ты людские,
Как они с росой льются,
Как в тумане думки злые
Горьким плачем отдаются,

Как без доли и без хлеба
Работающий люд наш гнется.
Кинь ты горе наше в небо –
Пусть хоть небо всколыхнется!

Май 1916, Париж

НОЧЬЮ

Ты зовешь меня своей капризой
На скрещеньи полевых дорог.
Кольхает темно-синей ризой
Наверху сидящий старый Бог.



Уходя попросим на прощанье,
Чтобы не был неприступно строг,
К бесконечно маленьким созданиям
Бесконечно милосердный Бог.

Чтобы нас без гнева и укора
Как детей приветил и простил
И от чуждого людского зора
Синей ризой ласково прикрыл.

10.07.1916, Новочеркасск

* * *

Может быть, томима вечной жаждой,
Я в тебе любила не тебя –
И тебя обманывала дважды –
И взяла и дала не любя.

Но узнав во время поцелуя,
Как горька была моя слеза,
Ты простил безумную слепую
За ее закрытые глаза.

16.10.1916, Петроград



* * *

Все ждется – как прежде
Войдешь ты с холоду
В широкополой шляпе,
И засмеются твои глаза
Из-под темных бровей.
Но дни текут, как капли,
А тебя все нет. И не будет.
Неужели же нельзя сделать так,
Чтобы можно было разлюбить
Тогда, когда это нужно?

16.12.1916, Петроград

РУКИ

Солжет лицо и глаз обманет,
И лба изрезанный гранит
Следов любви, следов страданий
И тяжких дум не сохранит.

Но я при встречах благосклонных
На руки каждому гляжу.
Расскажут пальцы неуклонно
Кресту вверялись, иль ножу.



В жестокий бой кидали ль смело
Червонно-звонкое кольцо
Иль робко шили саван белый
Закреть спокойное лицо.

И их ли целовали жадно,
Губам доступные едва,
Они ль потерянно, нескладно
Писали льстивые слова.

2.03.1919, Петроград

* * *

Когда прощального поклона
Придет для нас суровый час,
Прошу тебя – по телефону
Мне позвони в последний раз,
Затем что все приняв, позволив,
Одно я не смогу понять –
Как голос, дорогой до боли,
Моей сопернице отдать.
А в телефон чужим он станет
(Молись, Владычица, за нас),
И пусть само себя обманет
Пустое сердце в этот час.

8.03.1919, Петроград



НЕОКОНЧЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Не творчеств дни – дни умирания.
В них ничего печальней нет,
Что неоконченными здания
Останутся на много лет.

Вдоль белых стен в закатном пламени
Маляр веселый не поет,
И не несет суровый каменщик
К вершинам каменный свой гнет.

Труд, созидающий строения,
В пустых стропилах не течет,
И силу жадного падения
Не сковывает мерный счет.

К лесам закрыты с улиц доступы,
Качается пустая клеть,
И стен оскаленные остовы
Кирпичной плотью не одеть.

15.03.1919, Петроград



СТАРЫЕ ПИСЬМА

Никогда старых писем не трогай,
Не касайся заживших ран.
Помешают тебе дорогой,
Как колючий цепкий бурьян.

Не читай листков пожелтелых,
Твердо помни о них одно:
Это только бумажное тело,
А душа умерла давно.

26.03.1920, Новочеркасск

БРАТУ

Боже духов и всякия плоти, был мой милый, как агнец прост; в немудреной земной работе иго сладчайшее нес.

Ни на чьи человечьи плечи новой ноши не возлагал. Безымянным Твоим предтечей у источников трудных алкал.

Не примял цветка полевого, не задул пещного огня. Но сказал Ты черное слово и взял его у меня.

Боже, милый и трудный, внемлю! Но внемлешь ли нам и Ты? Иль только готовишь землю под белые эти кресты?

5.02.1922



* * *

Только и помню, когда тоскую,
Осеннее утро, да окно на Тверскую,
Да серый камень на сырой мостовой,
Под опозоренной моей головой.

Ах, никогда не любила Москвы я,
Но только помню, словно живые,
Руки ее под моей головой
На отсыревшей той мостовой.

29.09.1923, Москва

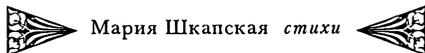
* * *

Губы твои как звон, губы твои как хмель, над пологом Лель, под пологом стон.

Нежность твоя как гнев, яростен твой прибой, любовь наша бой, у нее страшный припев и звучит как “убью — люблю”.

Не ласка, не поцелуй – плеск раскаленных струй, не отдаюсь, не люблю – наклонилась и пью – пламя и круговерть – и жажду мою не умерит смерть.

1923



* * *

Ты уйдешь и скажешь на прощанье
Много горьких и жестоких слов.
Оправдает их твое страданье,
Слез-жемчужин дорогой улов.

Я как прежде буду виновата
И как прежде буду я одна.
За минуту радости расплата –
Выпить чашу горечи до дна.

Знаю все и вижу без ошибки
Весь свой путь – голгофу из голгоф,
Но иду по-прежнему с улыбкой,
Как всегда, на твой любовный зов.

* * *

Господи, все я приемлю –
Вышла в назначенный срок,
В час предначертанный в землю
Лягу в сырой уголок.

Полной отмеренной мерой
Груз моей боли несу.
Сею с надеждой и верой
В жизни свою полосу.

ПЕРВАЯ АВТОБИОГРАФИЯ *
(наброски)

Писать о своей жизни – пожалуй, труднее, чем прожить ее, особенно человеку, который всегда ощущал себя в руках собственной судьбы, а не ее в своих руках.

Родиться мне пришлось в Петербурге (3 октября 1891 г.) на Вознесенском проспекте петербуржанкой в 4-м поколении, старшей в многодетной семье маленького питерского чиновника Михаила Петровича Андреевского. Отец мой по мужской линии происхождения священническо-дворянского, по женской – крестьянского (бабка еще родилась крепостной), коренной русский без примесей. Мать – чистокровная немка, дочь скрипача из оркестра Мариинского театра Адольфа Неймана и внучка берлинского гончарного фабриканта Карла Гепнера.

Выросла я в большой нищете в тех петербургских трущобах, о которых часто не знают многие называющие себя петербуржцами – в районе Колтовских и Сурских, в непосредственной близости к общественной свалке городского мусора, которая для меня и других детишек местной бедноты была источником существования: там мы собирали щепки для отопления наших углов, консервные жестянки и тряпки

* Эта автобиография была написана в 1926 г. как попытка ответа на анкету известного словаря ГАХН “Писатели современной эпохи” под ред. Б. Козьмина (вып. 1 – М., 1928, переизд. 1991). В архиве писательницы сохранилось несколько параллельных вариантов, ни один не полный. Мы позволили себе взять за основу самый пространный из них, но дополнить его несколькими параллелями из других. (Ред.)



для продажи тряпичникам. С 11 лет я уже на своих ногах – отец сошел с ума, мать параличная, надо кормить семь человек. И кроме основной профессии тряпичницы, я – статистка в украинской труппе по 1 рублю за выход; составительница прошений и писем на почте; в промежутках случайная переписка, стирка, поденщина. И наряду с этим страшная жажда учиться [на случайные средства случайных знакомых] – трудное и беспорядочное прохождение гимназии (Петровской), из которой каждое полугодие собирались вышвырнуть как вредный и беспокойный элемент. Не выкинули – оказалась слишком способной – дали кончить.

Вариант: Ходила по стиркам, мыла полы, писала на почте прошения и письма, выступала статисткой по рублю за выход – в украинской труппе. Меж работой окончила городскую школу, и несмотря на протесты отца, моя учительница устроила меня в гимназию, вначале даже на свои средства. Кончить гимназию удалось почти чудом, вырывая зубами плату за полугодие. Вообще зубы играли в моей жизни немаловажную роль, потому что выбраться из рядов люмпен-пролетариата гораздо труднее, чем отсюда. Может быть, отсюда и ранняя усталость и невозможность работать теперь, когда для этого имеются все данные...

Вар.: ...в семье больной отец создавал такую достоевщину, которая в значительной степени осложняла занятия. И вообще мое пребывание в гимназии – уличного мальчишки среди благовоспитанных учениц Мариинской гимназии – было сплошным парадоксом, доставлявшим много огорчений администрации и много незабываемо горьких минут – мне...

После гимназии – два года медицинского факультета (“на филологический стыдно идти, когда в деревне люди мрут без медицинской помощи”). Зимой уроки – летом спасительная и обязательная для студентов



статистика, сборание частушек для Академии наук, участие в научно-промысловой экспедиции на Чудское озеро: работа для рыбопромышленного словаря.

Еще с гимназических лет работала в социалистических и культурнических кружках, в ученических организациях – о работе нашей Истпартом недавно издана целая книжка; через организации эти еще в детстве перекликнулись между собой целый ряд современных общественных и научных работников. Вслед за работой этой пришла слежка, обыски, аресты, тюрьма 1912 г. (за Ленские события), тюрьма 1913 г., потом высылка в Олонецкую губернию и неожиданное предложение московского филантропа Шахова – дать нам, группе высылаемой молодежи, средства для окончания образования за границей. Во Франции окончила *Faculté des lettres pour les étrangers*, но шаховская стипендия быстро прервалась [с началом войны], и мы предоставлены сами себе в чужой стране, без права возвращения на родину. [Муж успел кончить электротехнический институт]. Обычное эмигрантское существование, скитания, Женева, Нанси, Тулуза, Париж. В Париже – Школа восточных языков, китайское отделение, а вечерами разноска реклам для кинематографа по сияющим парижским бульварам. Из Парижа – первые корреспонденции в русские газеты, первые стихи в толстые журналы, первые литературные встречи – Волошин, Минский и Эренбург. Руку этого последнего я ощущала в своих стихах.

Вар.: Большую роль в моей литературной жизни сыграло также знакомство с Блоком в 1920–21 г. ...Из поэтических имен, наиболее близких мне, назову Е. Гуро и Уитмэна... [Был период увлечения Фр. Жаммом, который довольно быстро прошел. Источником же, питавшим мое творчество в смысле устремления и содержания, считаю книгу из книг – Библию]. ...Долгое время



был “властителем дум” и наложил отпечаток на всю жизнь Шопенгауэр, но только в той своей части, где он является родоначальником всего фрейдовского психоанализа. Большую роль в юношеские годы сыграл также Дарвин, давший твердую базу моему мироощущению.

По возвращении в Россию – в 1916 г., по окончании срока высылки – та же скитальческая жизнь, вызванная вечным внутренним беспокойством, поездки корреспонденткой от “Дня” в деревни на Дон; служба продбарышней в 1918 г. в Ленинграде; кочевая жизнь на Украине в 1919-м, работа на Дону в Окпродкоме в отделах статистики, молочном, общественного питания – в 1920. [Диплом сиделки, квалифицированной по уходу за душевнобольными]. С 1920 по 1922 – сотрудница Главмузея – скитания по Псковщине с целью охраны музейного имущества. В это же время – первая встреча с Блоком и первая книга стихов. В 1923 г. работа в евгеническом бюро по изучению наследственности [деятелей искусств]. Случайная поездка в Германию в том же 1923 г. Несколько оседлая жизнь и работа с 1923 по 1926. А теперь опять скитаюсь по родной стране.

Вот те внешние вехи, между которыми улеглась трудная личная и литературная жизнь. Об остальном – чисто литературном – говорят мои книги. Только кажется мне, что и поэт я ненастоящий, и в литературе такой же случайный странник, как и во всех других областях. Вероятно, и для меня где-то уготовано было прочное и настоящее место в жизни. Но найти его мне не удалось. Отсюда и книжки мои при всем неисчислимом разнообразии житейских событий такие в сущности однообразные, потому что главной и основной их темой является эта вечная тревога странницы среди вещей и событий. Не слишком прочно прикрепленная к твердой земле и... *(не дописано)*.



Вар.: [Литературной наследственности у нас в семье не было, если не считать того, что отец обладал прекрасным слогом и писал изумительные письма. Вообще же моя художественная наследственность имеется, хотя и другого порядка: отец матери – скрипач, мать отца – балерина, брат деда – художник-иконописец (монах). Очень тяжелая наследственность по мужской линии в смысле душевных заболеваний, обуславливающих большое внутреннее горение в первой половине жизни и мучительную и трагическую гибель – в конце].

...Но ближе их всех чувствую я одного из братьев деда – [был он неу^емным бродягой из] тех, что складывают свои кости по бесконечным русским дорогам.

Полагаю, что в нашей семейной линии я являюсь не завершением имеющихся в роду способностей, а только маленьким звеном для передачи их будущему поколению для возрастания в лучших условиях и в лучших сочетаниях. Из этой уверенности мои дети и мои стихи. Детей у меня двое, книжек, считая детскую сказку, – 8.

Стихов сейчас больше не пишу – поэт я лирический, а нашей эпохе нужны иные, более суровые ноты. И потом кажется мне, что и поэт я не настоящий и в литературе тоже такой же случайный странник, как и во всех других областях жизни. Скитаюсь по родной стране и с трепетом, волнением и нежностью смотрю, как обростает житейской плотью и кровью еще недавно такой схематичный революционный пафос, – смотрю для того, чтобы потом просто и незатейливо рассказать об этом тем, кому в напряженной каждодневной работе самим некогда даже оглянуться. И если это тоже не настоящее мое место и занятие, то во всяком случае ближе к ним, чем всякое другое.

М. Шкапская.

ВТОРАЯ АВТОБИОГРАФИЯ *

Детство у меня трудное. Отец, мелкий чиновник Министерства Земледелаия в Петербурге, получал грошовую пенсию, мать паралитик, я, старшая из пятерых, с одиннадцати лет должна была зарабатывать на семью. Стирала белье на соседей, собирала «костей-тряпок», и строительный мусор, выступала статисткой в украинской труппе Крапивницкого, надписывала адреса и писала письма на почте, позже давала уроки. Не жалею, это закалило характер, приучило к труду, пригодилось в жизни.

После того как отлично кончила городскую школу, моя учительница С. П. Вельтищева (в сороковых годах за 50-летнюю педагогическую работу одна из первых награждена орденом Ленина) – за свой счет определила меня в Петровскую гимназию. В дальнейшем была освобождена от платы за учебу как одна из лучших учениц.

Окончив гимназию в 1910 году я вышла замуж за студента Шкапского. Чтобы иметь возможность зимой учиться (муж был в Университете, я проучилась два года не медфаке в Психо-Неврологическом Институте), летом мы работали по статистике в экспедициях на Псково-Чудском озере. Работа заключалась в переписи и обследовании условий жизни и труда прибрежного рыбацкого населения Псковщины – кажется самой нищей и темной из всех северных потребляющих губерний.

* Эта автобиография была написана М. М. Шкапской (за полгода до ее кончины), в связи с хлопотами о получении персональной пенсии (*Ред.*).



Эти выезды дали мне, горожанке, возможность глубоко ознакомиться с деревней и с народной жизнью со всей ее вопиющей нищетой и бесправием.

Наряду с обследованием рыбацкого и других кустарных и отхожих промыслов, мы, как обычно студенты той эпохи, в порядке общественной нагрузки, выполняли поручения Академии Наук по сбору фольклора (запись различных говоров, слов, названий, промысловых орудий, частушек, песен). Помню, что из первой же поездки я привезла около 200 слов, не вошедших в словарь Даля. Можно себе представить, как обогащала нас эта работа, это глубокое проникновение в сокровищницу народного слова. Впоследствии на основе этих материалов псковским Земством был издан рыбпромышленный словарь Псковского и Чудского озер.

В связи с этой работой мы и зимой подолгу жили во Пскове. Жизнь в маленьком городке, где благодаря близости столицы всегда группировалось много политических ссыльных, также была содержательной. Возле местной библиотеки объединилась группа молодежи под предлогом помощи библиотечным работникам. Неофициально же это был революционный кружок без определенного партийного лица, состоявший из студентов, семинаристов и нескольких рабочих-наборщиков (единственный вид местного пролетариата). Мы занимались изучением марксистской литературы, в дни смерти Толстого нами была проведена уличная демонстрация, в 1911 году большая маевка. Попутно мы занимались с рабочими участниками нашего кружка – четырех из них я подготовила к экзамену на сельского учителя. Многие из них впоследствии приняли участие в борьбе за советскую власть.

Надо сказать, что общественная деятельность всегда была для нас с мужем тем воздухом, без которого мы не могли дышать. Еще с гимназических лет мы участвовали в революционно-марксистских кружках.



В 1908–1909 гг. это был кружок, объединявшийся вокруг нелегального журнала «Рассвет»; впоследствии межученическая организация средне-учебных заведений, известная под названием витмеровской, в которой мы принимали участие уже студентами. Впервые я была арестована в 1912 году на Казанской площади в СПб во время студенческой демонстрации по поводу событий на Лене, отделались двухнедельной отсидкой.

Вторично была взята вместе с мужем по делу витмеровцев в 1913 году. После двухмесячного заключения в Доме Предварительного Заключения муж был административно выслан в Повенецкий уезд, я должна была последовать за ним, но высылка была заменена выездом за границу.

Дело в том, что арест витмеровцев, среди которых было много совсем зеленой молодежи, имел большой общественный резонанс. Был задан вопрос в Государственной Думе, в результате которого был смещен один из столпов тогдашней реакции – министр просвещения Кассо, о витмеровцах сочувственно писал Ленин. Поэтому московский миллионер Шахов предложил всем лишившимся возможности учиться витмеровцам заграничную стипендию. Мы с мужем, будучи исключены из русских университетов, также получили возможность закончить образование в Тулузе (Франция), – муж инженер-электрик, у меня диплом на право преподавания французского языка в России и во Франции. Прослушала я также годичный курс китайского языка в школе Восточных языков в Париже, где мы жили и работали последний год пребывания во Франции. След этих занятий остался в виде моей переводной с китайского книги стихов, вышедшей в 1923 году. Кончить школу я, конечно, не смогла – в 1916 году истек срок нашей высылки, и мы, истосковавшиеся по родине, поспешили в Россию, где, к счастью, старый режим уже доживал свои последние часы.



Должна добавить, что эти годы за границей дали мне замечательных людей, дружбу с которыми я храню до сих пор. Первое – это семья крупнейшего нашего и мирового ученого-химика и старейшего революционера А. Н. Бах – его жена-врач и три дочери, тогда как раз примерно в нашем витмеровском возрасте. На всю жизнь остались они почти моей второй семьей, эти совершенно исключительные люди. Такой семье явно не хватило в свое время Герцену, такую вообще трудно создать в условиях многолетней эмиграции. Высокая культура и блестящее образование редчайшим образом соединялись у них с высокими моральными качествами и верностью общественным идеалам. Витмеровцы были ими приняты очень тепло, и это обстоятельство сыграло для этих почти детей, брошенных в чужие края без всякого руководства, решающую роль: помогло им не растеряться на чужбине, многому научиться, сохранить и укрепить любовь к родине.

Второй человек, которому я очень обязана за этот период – это Илья Эренбург – первый художник слова, с которым я встретила в своей жизни. Человек величайшей искренности и страстности, он был моим первым поэтическим учителем, и руку его и дружбу его я чувствовала подле себя всю жизнь.

Считаю, что с этих пор и началась моя литературная жизнь, хотя писать я начала с детства, еще печатными буквами, а с 1910 года уже изредка печаталась в периодике. Первое мое стихотворение «На смерть Толстого» было напечатано в «Псковском Голосе» (1910). В конце 1914 года в Тулузе я познакомилась с В. Г. Короленко, который очень тепло отнесся к моим литературным опытам и переслал мои стихи в Северные Записки и Вестник Европы, где они и были напечатаны.

Кроме того, с 1915 года я начала посылать в Россию свои очерки через Д. И. Заславского, с которым я познакомилась в поезде, когда нас



под конвоем выслали из России. Ведь нас во Франции застала война 1914 года, это позволило нам несколько глубже познакомиться с народом Франции, чем это обычно удается иностранцам. В Бретани, где мы проводили лето 1914 года, я некоторое время работала в госпитале, принимала участие в приеме и распределении бельгийских детей-беженцев и обследовала семьи ушедших на фронт. Кроме того, т. к. нам надо было как-то зарабатывать, то мы выходили с рыбаками в море на лов креветок, работали на виноградниках. Ведь Шахов, как истый буржуазный филантроп, в начале войны сперва на долгий срок забыл о своих подшефных, потом сократил нам стипендию вполтину, а затем и вовсе прекратил ее без всякого предупреждения. К счастью, мы оба уже закончили свое образование и с 1915 года работали в Париже, правда несколько не по специальности – муж работал на электростанции, я разносчиком реклам для кино.

Все это, плюс знание французского студенчества, и дало мне материал для первых моих художественно-публицистических очерков. Заславский напечатал их в петроградской газете «День», где он тогда работал.

Естественно, что по возвращении на родину я и осталась связанной с «Днем». С 1916 по 1917 гг. я была их разъездным корреспондентом, причем мои донские очерки 1917 года, как я потом узнала, несколько раз перепечатывала фронтовая «Правда». Такова была логика развития и становления советской власти, неудержимо вовлекавшей в свою орбиту все живое и молодое.

В 1918 году «День» был закрыт, я начала работать по старой памяти статистиком по карточному снабжению города. Летом 1919 года я с детьми (один грудной) застряла на даче на Украине, откуда к осени перебралась к матери мужа в Новочеркасск. Таким образом я видела своими глазами все ужасы, творимые белогвардейцами, и жесточайшие расправы их с мирным населением. К этому периоду относится моя по-



эма «Явь», впервые напечатанная в «Правде» в 1922 году. В этот период закончилось формирование моего советского уже, а не попутнического мировоззрения.

К концу 1919 года, сразу после освобождения Дона Красной Армией, я предложила Окпродкому использовать мой петроградский опыт по организации карточного снабжения, чем и занималась до июля 1920 года, когда наладилось правильное сообщение и я вернулась в Петроград к мужу. Он, все время моего отсутствия, во времена Юденича, находился в рядах Красной Армии, а до этого и после этого восстанавливал и налаживал, в качестве выборного директора, завод «Электрик», на который он поступил рядовым инженером еще в 1917 году.

В 1920 году осенью в Петрограде возник Союз Поэтов по инициативе В. Я. Брюсова, который уже создал московское отделение Союза. Нашим председателем был А. А. Блок, который проявлял много энергии в смысле укрепления Союза в советском духе. Время было еще трудное, много сил отнимали у нас материальные заботы, пайки, дрова и т. п. Александр Александрович часто со своей печальной улыбкой предостерегал от того, чтобы «мешки за спиной» не заслонили бы от нас благородного революционного смысла эпохи, о которой потом «веками будут слагаться легенды».

Тогда еще довлело в литературе направление «искусство для искусства», с которым я столкнулась впервые. Блок и этому давал энергичный отпор. У меня сохранился протокол нашего первого заседания, в котором подчеркнуто, что Блок особенно настаивал на связи с районами, на живой связи поэзии с революционным народом. Мы тогда много выступали на кораблях Балтфлота, в б. Тенишевском Училище, в Народном Доме и т. д.

Меня приняли в Союз еще до выхода в свет первой книги стихов, я представила ее черновик Комиссии под председательством Блока, была принята единогласно и введена в правление. Оставалась я в Союзе до



конфликта Блока с Гумилевым, после которого Блок ушел из Союза, а за ним и многие из нас. В дальнейшем я уже входила в Союз Писателей.

Только много лет спустя поняла я, как много сделал для меня в то время Блок, почему так настойчиво предостерегал от Гумилева и всего, что было связано с ним, как просто запретил мне войти в Цех поэтов, где я собиралась совершенствоваться в теории стиха, как учил простоте без формалистических выкрутасов, как политически умно и верно направлял мою (да и всего Союза в целом) работу, и как откровенно радовался, когда после организованного им, Блоком, моего, совместно с ним самим, выступления в Доме Искусств, Гумилев отказался подать мне руку за содержание одного из моих стихотворений. Явный политический смысл этого, повторяю, дошел до меня гораздо позже, когда Блока уже не было в живых.

Практически все эти годы – 1921–1923 – я продолжала работать: была в Петроградском Музейном отделе разъездным инструктором по приему на госучет церковных и помещичьих ценностей по издавна мне знакомой Псковщине. Знакомство это очень помогло мне в работе и позволило правильно наладить описание и инвентаризацию особенно церковного и монастырского имущества и предохранить его от расхищения.

Таким образом только к 1923 году, уже в 30-летнем возрасте, я перешла целиком на литературу, т. е. она стала основным видом моего заработка. Мне кажется, что раньше этого и нельзя было сделать, надо было накопить какой-то опыт, дать сформироваться взглядам на окружающее. И все-таки первые мои книги были еще часто далеки от действительности, в них было много от литературы.

С 1921 и по 1927 год выходили книги моих стихов и детских сказок, сама я вошла уже полноправным членом в Петроградское отделение Всероссийского Союза Писателей (впоследствии Ленинградское).



Пребывание в Союзе Поэтов уже ввело меня в круг писателей-современников (до этого я знала только, еще по Парижу, Инбер и Полонскую, да помнила Тынянова, Каверина и Павлович еще детьми по Пскову). К этому времени относится мое знакомство с Фединым – человеком очень благородившим литературную среду своего времени, с Тихоновым (он тогда женился на М. К. Неслуховской – тесно связанной в прошлом с нашей революционной юностью – так замкнулся круг от детства к зрелости), с Маршаками, А. Н. Толстым, Сейфулиной, Шагинян и Форш, Шишковым, Чапыгиным, позже в Москве с Фадеевым (это было для меня совершенно новое литературное и общественное явление), Брюсовым, Павленко, Новиковым-Прибоем, Gladковым – словом, со всеми, кто составлял тогда и составляет частично и сейчас основное ядро советской литературы и с кем с тех же пор я и организационно связана через Союз Советских Писателей.

Между тем через несколько лет замкнутое существование в литературной среде перестало меня удовлетворять, не хватало притока жизненных впечатлений. Не удовлетворяли меня и мои стихи. – Очень трудно в одном и том же жанре сразу найти новые формы, соответствующие новому, созревающему в тебе, содержанию.

Поэтому с 1925 по 1932 год я опять перешла на очерковую работу. Семилетнее пребывание разъездным очеркистом в «Правде» и одновременно в ленинградской Вечерней Красной Газете снова позволило мне окунуться в жизнь. Жадно глядела я как выходила на широкую дорогу убогая Белоруссия, как формировался Кузбасс, как вырастали в борьбе с кулаками первые колхозы Сибири, как мощнел с развитием сталинских пятилеток Дальний Восток. Очерки мои печатались тогда почти во всей периодике. Это ведь был один из самых интересных периодов становления советской власти на местах, в тех самых захолустьях и окраинах, с которыми я сталкивалась в дни моей юности. Можно не



сомневаться, конечно, что первым долгом я захотела взглянуть на третью формацию Псковщины.

Таким образом я невольно оказалась тем самым «свидетелем тяжбы старого с новым», о котором говорил непрерывно всю жизнь Горький. Это и сделало, как я считаю, мою работу, при всех ее скромных размерах – целенаправленной.

В результате этих поездок появились три моих больших книги художественных очерков.

С 1932 по 1936 год, по приглашению Горького, работала над Историей завода Карла Маркса (бывший Леснер), которая отдельными главами проходила в Горьковском Альманахе и ряде ленинградских и московских журналов.

Это была новая стадия зрелости. Ведь история заводов была задумана Горьким как иллюстрация революционного движения и роста революционного пролетариата. Поэтому многому пришлось учиться, надо было засесть за учебники истории, штудировать Историю партии, тщательно знакомиться с трудами Ленина и Сталина, углубиться в заводскую жизнь, выступать в цехах, передавать свой опыт молодым рабочим и самой учиться у них.

Одновременно с этой работой я получила предложение от Горького быть уполномоченным задуманного им Альманаха (тогда «Год 16»), чем я занималась с 1934 по 1936 год.

Здесь мне хочется сказать несколько слов о большом общем нашем писательском учителе и друге – Алексее Максимовиче Горьком. Нет, кажется, ни одного самого маленького писателя, в жизни которого он не оставил бы личного следа. Совершенно необъятна была его способность за всем следить, все читать, на все откликаться. Стоило появиться в литературе чему-нибудь мало-мальски талантливому или даже просто



обещающему – как А. М. немедленно откликнулся. Письма эти сваливались как снег на голову – полные интереса, дружеских советов, иногда упреков – и довольно суровых, но всегда теплые и благожелательные.

Я знала А. М. еще в 1919 году, в бытность его в Петрограде во Всемирной Литературе, познакомил меня с ним Блок. Тогда у меня были только отдельные стихи и очерки, лишь в 1921 году вышла первая книга стихов. И не успела я еще к ней привыкнуть – как пришло письмо от него – такое теплое, с такими, я бы сказала, преувеличенными надеждами на будущее, с такими сердечными пожеланиями, с таким глубоким анализом недостатков. И таких писем было у меня в моей жизни четыре – три о стихах, одно об Истории Завода. Было и несколько больших разговоров – один из них в Саарове под Берлином, куда я ездила от издательства Круг в 1923 году за материалами от Эренбурга и Толстого и где возобновила личное знакомство с Алексеем Максимовичем. Очень тепло отозвался он и о моей работе над Историей Завода в 1934 году в своей большой речи на Съезде Писателей. А ведь я была только одной из нескольких тысяч писателей гораздо более крупных и интересных. – Можно себе представить как это обзывало!

Чрезвычайно интересна была и работа по Альманеху. Непрерывно приходили из Москвы требования – то связаться с кем-нибудь из учеников и последователей Павлова, то найти какие-то новые материалы о Некрасове, то А. М. вдруг заинтересовали новые проблемы физики, то затевался День Мира и т. д. Все время ощущалось биение этого огромного горячего сердца, словно это было сердце самой советской литературы. К сожалению, непосредственное общение с А. М. в эти годы было уже затруднено из-за его окружения.

Последний раз я видела А. М. у него в Горках во время Съезда Писателей в 1934 году, п. ч. в 1936 я приехала в составе ленинградской делегации на его похороны уже после кремации.



На другой день после похорон я выехала по поручению ленинградского Союза на Дальний Восток для работы над второй книгой о Дальнем Востоке, которая вышла в 1938 году. Возместить такую утрату можно только работой.

По возвращении, в том же самом 1936 году, я переехала на постоянное жительство в Москву в связи с переводом сюда мужа. Здесь и живу до сих пор, продолжая свою литературную работу.

По общественной линии всегда была загружена. Член Правления Союза Поэтов, член Правления Ленинградского Союза Писателей до 1925 года, постоянный член Комиссии по приему новых писателей, постоянный делегат от Ленинграда на пленумы и съезд в Москве и Минске, позже член Бюро Ленинградского Горкома Писателей до переезда в Москву. В Москве с 1940 по 1946 год член ЦК Союза Работников Печати от Писателей. Ежегодно до войны выступала на призывных пунктах, имею две благодарности в приказе по Московскому Военному Округу. Была три года членом товарищеского суда.

С самого начала войны приказом т. Щербакова была зачислена в Литгруппу при Совинформбюро, выезжала с ней с октября 1941 по февраль 1942 года в Куйбышев, вообще же всю войну провела в Москве, была в медико-санитарном звене во время бомбежек. Была все время войны членом редсовета Детгиза и продолжала работу при Совинформбюро по ознакомлению зарубежных стран о Советском Союзе. Написано для них, а также для ВОКСА, Антифашистских Комитетов (женского и Молодежи) и Радиокомитета (отдел политической агитации) свыше ста очерков и четыре специальных книги. Кроме того в 1941–1942 годах вышли три мои книги на нашем фронтовом и тыловом материале (подробная библиография прилагается особо).



В 1946 году по заданию ЦК партии, совместно с группой товарищей-женщин (Гагарина, Смирнова, Караваяева), занималась созданием международного журнала «Советская женщина» и первые шесть месяцев до его укрепления была в составе редакции.

В 1945 году награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне».

В 1942 году у меня был парез левой стопы, что лишило меня возможности свободно передвигаться. Вероятно, поэтому я в 1947 году попала под машину, а в начале 1950 под поезд, оба раза с тяжелым сотрясением мозга. Все это, в связи с возрастом (в 1951 году ССП тепло отпраздновал мой 60-летний юбилей) и тяжелыми мозговым и сердечным заболеваниями (инсульт и грудная жаба), привело к тому, что я уже больше двух лет провожу целые месяцы в больнице или в постели. Это, конечно, сократило объем моей работы, которую я все-таки никогда не прекращаю. Только в настоящее время в основном работаю над внутренними рецензиями для Союза Писателей, Детгиза и Молодой Гвардии, чтобы передать свой литературный опыт молодому поколению писателей.

В 1950 году решением Секретариата ССП я зачислена внештатным рецензентом нашей деткомиссии, в 1952 введена в состав Комиссии Мемуарной. Это все знаки внимания к старому писателю со стороны ССП, в рядах которого я нахожусь больше тридцати лет, чтобы облегчить мне переход на более подходящую работу, – знаки внимания, которые я бесконечно ценю.

В настоящее время занята доработкой большой (25 листов) и, по-видимому, последней книги очерков, написанных и частично напечатанных или прозвучавших по радио за последние пятнадцать лет. Хочется этим подвести какие-то итоги своей литературной работы, длившейся свыше сорока лет, почти полвека.



В заключение несколько слов о семье. О муже я уже сказала главное. Сейчас он персональный пенсионер, после удара с потерей речи тяжелый инвалид. Кроме него у меня два сына и дочь Светлана. Она единственная, которая жила и живет с нами – сыновей мы оставили в Ленинграде еще мальчиками в 1936 году, когда переехали в Москву. Дочери 24 года, она в этом году впервые приступает к самостоятельной работе в качестве гидрогеолога на Цимлянском море.

Старший сын Валерий 34 лет, в годы войны отлично окончил Ленинградский Политехнический Институт, был призван в числе 200 комсомольцев специального Сталинского призыва, через год окончил так же отлично Артиллерийскую Академию, после войны вышел в звании майора, остался в кадрах, сейчас инженер-подполковник на научно-исследовательской и конструкторской работе на Ленинградском Полигоне. Его жена инженер-гидротехник Ленгидепа и 11 л. сын живут с ним в Ленинграде.

Второй сын Артемий 32 лет, окончил морской техникум, отлично сражался на финском фронте. Во время Отечественной Войны попал в окружение, был взят в плен и в конце 1950 года направлен в трудовые исправительные лагеря. Его местопребывание в настоящее время мне неизвестно. Все это произошло в Ленинграде, где я не была уже около пятнадцати лет. Это, конечно, самое большое горе моей жизни и мне очень горько, что я не умерла немного раньше.

Как будто этим все исчерпано. Трудно писать историю целой жизни, никогда не знаешь, что же в ней самое главное. Мне кажется, что писателя надо в основном судить по его книгам. – Самое ценное вложено в них – его отношение к жизни. Это как бы отчет и перед читателем, т. е. перед своим народом, и перед своей совестью, которая всегда самый суровый наш судья, перед которым всякая работа всегда кажется недостаточной.

М. Шкапская, 1952 год, февраль

содержание

М. Синельников. Закон неумолимых библий 5

ЧАС ВЕЧЕРНИЙ (1913–1917)

ЧАС ВЕЧЕРНИЙ

Библия	9
Магдалина	10
Тайга	10
Склеп	11
Покой	12
Паноптикум	13
Мумия	14
У антиквара	15
Лед	16
Вещи	18
Ревность	19

КОГДА МЫ ОСТАЕМСЯ САМИ С СОБОЙ

“Как будто кто-то огромный...”	20
“Помнишь, в сказках мачехи...”	20
“Ах, ступеней было много...”	21
“Громыхали колеса гулко и строго...”	21
“Ляжем и втянем голову в плечи...”	22

СЕРДЦА ГОРЕСТНЫЕ ЗАМЕТЫ

“В маленькой заклеенной загадке...”	23
“Было грустно наше прощанье...”	24
“Он один подходил так нежно...”	25
“В вечность меж нашими встречами...”	25

“Я помню о милом скитальце...”	25
“Как часто на Монпарнассе...”	26
“Как странно – сердце уколото...”	27
“Как глухо плачет море!”	27
“Господи, я не могу!”	28

VIVELOTS

Сердце в ватке	29
Ботичелли	29
Эскиз	30
Менуэт	30
Ланчелот	32
Баллада	33
Фонарик	34
Весна	34
Вода	35

MATER DOLOROSA (1921)

“Неживое мое дитя...”	37
“Так время светло протекало...”	38
“Она проходила сгорбленно...”	39
“Ведь солнце сегодня ярко...”	39
“Мы рожаем их в муках сами...”	40
“В землю сын ушел...”	41
“Знаю я, что в наш печальный мир...”	41
“Дни мои, как пустая чаша...”	42
“Быть бы тебе хорошей женою...”	42
“Было тело мое без входа...”	42
“О, тяготы блаженной искушенья...”	43
“Как докажу, что я была любима...”	43
“Как много женщин ты ласкал...”	43
“Станут старше, взрослее дети...”	44
“Христос, не заходи, пройди мой мирный дом...”	44
“Господи, разве не встала я...”	45

“Да, говорят, что это нужно было...”	46
“Не снись мне так часто, крохотка...”	46
“О, сестры милые, с тоской неутолимой...”	47
“Боже мой, и присно, и ныне...”	47
“Земля моя, от Чили до Бретани...”	48
Россия	49

БАРАБАН СТРОГОГО ГОСПОДИНА (1922)

“Пара за парюю – муж с женой...”	51
“Однажды лишь меру кровную...”	52
“Старые мои, мои мертвые...”	52
“Скудные, хилые, слабые...”	52
“Ты стережешь зачатные часы...”	53
“Под шагами тяжкими и важными...”	53
“Ты стала взрослая и может быть седая...”	53
“Нет, на путях моих не мне дано...”	54
“Когда стану я старой и скучной...”	54
“Я верю, Господи, но помоги неверью...”	55
“Петербуржанке и северянке...”	55
Канон Богородичен	55
“Все помним о древнем рае...”	56
“Что ты там делаешь, старая мать?...”	57
“Будут нам Паны даны и Христы...”	58
“Тяжкой десницей и волей Отца...”	58
Россия	
1. “По степному цветному раздолю...”	59
2. “Лежит роженицей на день девятый...”	59
3. “Когда над спящею Невою...”	60
4. “Город спал во сне непробудном...”	61
5. “На рытвинах и на ухабах...”	62
Петропавловская крепость	
1. “Когда сентябрьскую тишь...”	63
2. “Замшелых стен седая вязь...”	63

Людovicу XVII

1. “Я помню с острою печалью...”	64
2. “Народной ярости не внове...”	65
Хождение по саратовским мукам	66
Явь	69
Израилю	76
“Не творчеств дни, а умирания...”	77

КРОВЬ-РУДА (1922)

“Катящая в упругих жилах волны...”	78
“Детей от Прекрасной Дамы...”	78
“Веселый Скотовод, следишь, смеяшь, за нами...”	79
“Уже нестерпимо дышит...”	79
“Лежу и слушаю...”	79
“Все течет – от праматери Евы...”	80
“Только платье, язык да прическа...”	80
“Острилось и жгло меня страстное жало...”	80
“Ведь были мы первые крепче и выше...”	81
“И ели впервые и первые пили...”	81
“Перебираю родовой архив...”	82
“Что знаю я о бабушке немецкой...”	82
“Деды дедов моих...”	83
“Встала женою Лота...”	83
“О эта женская Голгофа...”	83
“Я женщиной цвету в полях земных...”	84
“Мы были, мы прошли, нас было очень много...”	84
“Небо Твое придавило...”	84
“Я тебе плохая жена...”	85
“Ой, беда мне, беда, беда...”	86
“Пока в девушках я хожу...”	86

ЗЕМНЫЕ РЕМЕСЛА (1925)

“Не жалела я белого тела...”	88
“Наследующим имя легион...”	88

“Миллионы веков назначенных...”	89
“Их много – кротких и прелестных...”	89
“Потомки одной и первой...”	90
“Расчет случаен и неверен...”	90
“Пускай живет дитя моей печали...”	91
“Ах, дети, маленькие дети...”	91
“Ах, девочка, беляночка Лилиг...”	91
“Как в темный улей черная пчела...”	92
“Должно быть, миру уготован...”	92
“Причастницей войду в твою постель...”	93
“Нет перед ним ни робости, ни страха...”	93
“Изысканный приемами лукавец...”	93
“Лукавый Сеятель, свой урожай лелея...”	94
Человек идет на Памир. <i>Поэма</i>	94

ШЕСТАЯ КНИГА СТИХОВ, НЕИЗДАННАЯ

“Не оставляй следов неполноценных...”	101
“Он замкнут, мой источник вдохновенья...”	101
“В ковше Каверинскую Хазу...”	102
“О современности, нам милой...”	103
“Быть только женщиной – и милой...”	104
“Одной и той тоской влекома...”	104
“Примета у лета этого...”	105
“Тумань мне голову, тумань...”	106
“Опять с тобой веселоглазым...”	106
“Быть может вправду легкая игла...”	107
“Вооружи свой глаз и наклонись, и жги...”	107
“Ночь была за нее и ветер...”	108
Цыганке	109
Проводы	110
“Каменная музыка”	111
“Еще висел на ближнем фонаре...”	114

ЦА-ЦА-ЦА(1923)

Одинокая, как журавль	119
Возвращение	121
Лиу-лин	121
Через многие версты	122
Так и мы расстаемся	123
Как и прежде	123
Би-ба́	123

СТИХИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В СБОРНИКИ

Плачьте (на смерть Л. Толстого)	127
Белая ночь	128
Портрет Леонида Витмера	129
“Мой крест сломила злая буря...”	130
“Рисует черным ночь...”	131
Эренбургу	132
Ночью	133
“Кто-то умер в нашем доме...”	133
О Пскове	134
Прощание	135
Родное	135
“Погаснут дневные обманы...”	136
“Ты” и “вы”	137
Опытность (из Анри де Ренье)	138
“Я была в сумасшедшем доме...”	138
“Хорошо обнаженным мечом...”	139
“Обнажите зеленые дёрны...”	140
На вокзале	140
“Сегодня солнце всё в морщинках...”	141
На грани	142
Булавки	143
“Я верю только в ласку рук...”	144
Газеты	144

Будет	145
“Океан рассердился сегодня...”	146
“По ночам мне немного снится...”	147
Леонардо	147
Вечером	148
“Для нас война – это повязки...”	149
О затаенном	150
О Петербурге	151
О словах	152
Печаль	152
Отчетливое	153
“Счастливые часто жестоки...”	154
Горам	155
“Хочешь подняться ввысь...”	156
Плач матерей (“На реках вавилонских”)	156
“Гроб хочу с паровым отоплением...”	157
Юдифь	158
Месяц (из Я. Коласа)	159
Ночью	159
“Может быть, томима вечной жаждой...”	160
“Все ждется – как прежде...”	161
Руки	161
“Когда прощального поклона...”	162
Неоконченные здания	163
Старые письма	164
Брату	164
“Только и помню, когда тоскую...”	165
“Губы твои как звон...”	165
“Ты уйдешь и скажешь на прощанье...”	166
“Господи, все я приемлю...”	166

ПРИЛОЖЕНИЯ

Первая автобиография (наброски)	167
Вторая автобиография	172

**МАРИЯ
ШКАПСКАЯ
СТИХИ**

Лицензия ЛР 070054 от
16.08.96.

Редактор М. Синельников.
Художественный редактор
А. Веселов. Технический
редактор М. Гутенберг.
Набор Н. Халимончук.
Верстка О. Леонова. Кор-
ректоры Е. Дружинина,
Е. Коваленко. Компьютер-
ное обеспечение Е. Падал-
ка, А. Буреев.

Подписано в печать
07.02.2000. Формат 60 x
90 1/32. Гарнитура "Бас-
кервиль". Бумага офсет-
ная. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 6. Тир
1000 экз. Зак. 530.

Издательство "Лимбус
Пресс". 198005, Санкт-Пе-
тербург, Измайловский
пр., 14. Тел. 112-6706. Тел./
факс в Москве: (095) 291-
96-05.

Отпечатано в АООТ "Ти-
пография «Правда»".
191119, Санкт-Петербург,
Социалистическая ул., 14.
Тел. 164-6830.

серебряная серия



*Мария
Шканская*
**ЧАС
ВЕЧЕРНИЙ**
стихи

